



С. Э. ЗВЕРЕВ

ВОЕННАЯ  
РИТОРИКА  
ДРЕВНЕГО МИРА

С. Э. ЗВЕРЕВ

ВОЕННАЯ  
РИТОРИКА  
ДРЕВНЕГО МИРА

Санкт-Петербург  
АЛЕТЕЙЯ  
2011



ИСТОРИЧЕСКАЯ  
КНИГА

УДК 355:808.5"../05"

ББК 68

З 433

**Рецензенты:**

*В. В. Химик*, доктор филологических наук, профессор  
(Санкт-Петербургский государственный университет);

*О. Ю. Пленков*, доктор исторических наук, профессор  
(Российский государственный педагогический университет)

**Зверев С. Э.**

3433 Военная риторика Древнего мира. – СПб.: Алетейя, 2011. – 176 с.

ISBN 978-5-91419-582-0

В монографии дано определение, сформулированы объект, предмет, задача военной риторики как важнейшей из частных риторик.

С привлечением широкого круга исторических источников прослежена история развития военной риторики Древнего мира. На основе анализа многочисленных речей выдающихся полководцев древности разработаны правила организации речи для современных военнослужащих, способствующие эффективному выполнению служебно-боевых задач.

Для широкого круга читателей, интересующихся героической словесностью, военной историей, вопросами военного и государственного управления. Представляет интерес для специалистов в области военной педагогики и психологии, морально-психологического обеспечения войск, курсантов и офицеров.

**УДК 355:808.5"../05"**

**ББК 68**

ISBN 978-5-91419-582-0



9

© С. Э. Зверев, 2011

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2011

## Предисловие

Воинская профессия, как и большинство других, тесно связана с речью, поскольку речь — основное средство организации и управления деятельностью личности, общества и государства.

С древности вопросами речевой организации жизни государства и общества занималась риторика. Каждой сфере деятельности, связанной с «повышенной речевой ответственностью» (по В.И. Аннушкину), человечество выработало и поставило в соответствие и свой тип частной риторики, предназначенной для оптимального удовлетворения потребности в эффективно воздействующей речи. Область воинской деятельности в силу ряда причин до настоящего времени оставалась без надлежащим образом разработанной системы правил построения речевого воздействия, понимаемых не только как чисто технические требования к коммуникативным качествам речи: краткости, точности, силы голоса и т.п., что устанавливают воинские уставы, но и наиболее общих подходов к наилучшему соответствию речи требованиям решения задач военной службы. Эту систему правил формирования военно-профессиональной речи объединяет в себе военная риторика.

Профессиональная подготовка офицеров в высших военных учебных заведениях до сих пор не предполагает создания многоуровневой системы специального обучения речевому мастерству, охватывающей все категории обучающихся. Несмотря на то, что педагогическая и академическая риторика давно уже оформились в качестве частных риторики, только последняя получила более или менее удовлетворительное распространение, как правило, в системе дополнительного профессионального образования в вузах МО РФ. Таким образом, ценность риторики признается пока только для обучения военных педагогов; речевая подготовка основной массы военных специалистов, решающих задачи повседневной и боевой деятельности Вооруженных сил вынужденно ограничивается кратким изучением грамматико-стилистических нюансов культуры русской речи, фактически являющихся повторением материала, изучавшегося в средней школе. Вместе с тем, по мнению проф. Ч.Б. Далецкого, речевая составляющая для определенных категорий военнослужащих достигает от 40 до 100% их общей практической деятельности [13, С. 413]. Ситуация усугубляется отсутствием ясного представления о требованиях, предъявляемых всем содержанием воинской деятельности к речи военного человека и обучения ей в стенах военного учебного заведения.

Неудовлетворительное владение жанровыми формами и стилистическими особенностями русской речи приводит к эстетически малопривлекательному и содержательно избыточному смешению некоторыми военнослужащими разнородных языковых средств, что всегда свидетельствует в глазах подчиненных о низком профессиональном уровне начальника. Нехватка словарного запаса зачастую покрывается избыточным употреблением ненормативной лексики. Даже в вузах командного профиля, по данным Л.Н. Лазуткиной «61 % курсантов в полевых условиях, имитирующих боевую обстановку, испытывают растерянность при исполнении командирских обязанностей, не могут четко поставить боевую задачу, организовать и скоординировать действия своего подразделения» [35, С. 3].

Особое значение речевой подготовки военного профессионала в наше время объясняется еще и катастрофическим падением общей и профессиональной культуры (неотъемлемой частью которой является язык) обучающихся в военных вузах. Эффективно решать задачи государственного и патриотического воспитания военнослужащих возможно только при творческом использовании потенциала речи в этом процессе. Общеизвестно, что только вербализованная мысль прочно входит в сознание, становится частью мировоззрения. И в этом процессе воспитательные возможности риторики поистине безграничны и, к сожалению, очень мало востребованы. Узко понимаемая проблема «профессионализации» армии, ставящая ее в зависимость исключительно от материального стимула, приводит к тому, что у современного офицера фактически не остается средств духовно-эмоционального воздействия на подчиненных. Ни одному русскому офицеру еще не удавалось поднять людей в атаку обещанием высоких премиальных в случае успеха. Единственным средством эмоционально-волевого воздействия в этом случае были и остаются личный пример и вдохновляющая речь. Научить будущих офицеров, основываясь на блестящих примерах прошлого, владению этим мощно воздействующим средством — значит дать им почувствовать себя наследниками боевой славы предков, сделать осязаемой связь времен и поколений. В этом смысле военная риторика неразрывно связана с воспитанием и может считаться обеспечивающей дисциплиной для военной педагогики и морально-психологического обеспечения войск.

Не последнюю роль играет военная риторика в подготовке военного педагога. Многочисленные исследования показывают, что речь современной молодежи, приходящей в военные вузы, как правило, формируется под влиянием военного жаргона героев голливудской видеопроизводства и современ-

ных отечественных фильмов невысокого художественного достоинства. Речь средств массовой информации обладает высокой эффективностью воздействия на речевое поведение: массовое тиражирование вербальных образцов приводит к их восприятию в речи в качестве эталонных. Для формирования настоящей военно-профессиональной речи обучающихся речь военного педагога должна являть высокие образцы стилистически и жанрово безупречной военной речи, чему способствует изучение богатейшего наследия военной риторики прошлого.

Изучение риторики актуализирует интерес к целому комплексу дисциплин, что особенно важно в рамках современного компетентностного подхода к обучению. Еще Цицерон задавался вопросом: «И можно ли что-нибудь сказать или понять относительно жизни, обязанностей, добродетели, нравов, не изучив эти предметы сами по себе?» [70, С. 341].

Задачи формирования военно-профессиональной речи должны решаться в рамках изучения военной риторики, процесс разработки которой не может считаться не только законченным, но, собственно говоря, даже и начатым. Сама военная риторика, несмотря на то, что является частной по отношению к классической риторике (которую можно определить как науку и искусство построения целесообразно воздействующей речи), может считаться прародительницей последней. Профессор Ч.Б. Далецкий так определяет это понятие.

**«Военная риторика** — это специализированная речевая культура военно-профессиональной среды, направленная на освоение военной культуры, адаптацию новых поколений к непривычным условиям жизни и деятельности военнослужащих при помощи особенных технологий речевого воздействия на коммуникативном и поведенческом уровнях; это часть общей риторики, науки о правилах построения речи, системы наиболее общих требований к речи и речевому поведению; это система знаний навыков и умений коммуникации с помощью языка в речи и вербальное воздействие на военнослужащих» [13, С. 409].

В этом определении, на наш взгляд, с одной стороны заложена некоторая избыточность: оно включает помимо главного содержания понятия еще и ряд задач, которые, по мнению исследователя, призвана решать военная риторика, что вряд ли целесообразно, поскольку освоением военной культуры и адаптацией новых поколений к служебной деятельности задачи военной риторики явно не ограничиваются. С другой стороны, военную риторику нельзя определять через понятие речевой культуры, т.к. термин речевая культура, как и область знания, которую он определяет

значительно «моложе» риторики, которая возникла практически вместе с человеческой цивилизацией.

И самое главное: культура речи предполагает такое обязательное качество как *правильность* — т.е. соответствие речи нормативному строю языка, в то время как реальная, без сомнения оказывающее требуемое воздействие речь сплошь и рядом не может считаться абсолютно правильной. В военных речевых коммуникациях преобладают устные жанры, для которых характерны разговорные конструкции со сниженными требованиями к указанному качеству речи. Кроме того, в военной риторике находят широкое применение т.н. косвенные жанры речи (в терминологии В.В. Дементьева), основанные на не прямой речевой коммуникации, для которой требования культуры речи могут считаться в достаточной степени условными.

Один из самых главных законов риторики закон цельности внутреннего и внешнего содержания гласит: «Всякий вид ораторской речи представляет собой единство этоса, пафоса и логоса» [58, С. 93]. Другими словами, условием эффективного воздействия речи является взаимное соответствие ожиданий слушателя (этоса), намерениям оратора (пафосу) и употребляемым им языковым средствам (логосу). Видно, что требования «специализированной речевой культуры» могут быть отнесены только к одной из основных категорий риторики — логосу — и практически не касаются двух других, на наш взгляд значительно более важных. Безусловно, что для создания совершенной по форме и смыслу речи (красноречия) оратор должен обладать знаниями в области грамматики и стилистики, но это, в терминах математики, условие необходимое, но не достаточное. «Риторика в категориях этоса, пафоса и логоса не зависит от красноречия. Определения риторики как учения о красноречии *по существу не верны*», — считал акад. Ю.В. Рождественский [58, С. 80].

Таким образом, под военной риторикой в настоящем исследовании мы будем понимать следующее.

**Военная риторика** — это наука и искусство целесообразного построения речевой коммуникации военнослужащих, направленной на обеспечение решения задач военной службы.

*Объектом* военной риторики как науки можно определить речевые коммуникации в служебно-боевой деятельности военнослужащих, или другими словами, военные речевые коммуникации. *Предметом* военной риторики, по выражению автора первой русской военной риторики Я.В. Толмачева, является «система правил, касающихся до красноре-

чия» [65, С. 288], или в современных терминах, правила организации эффективной речевой коммуникации между военнослужащими.

Главную *задачу* военной риторики как военного красноречия впервые определил Е.Б. Фукс, заведующий личной канцелярией А.В. Суворова в Итальянском и Швейцарском походах. Долгое нахождение его рядом с величайшим нашим военным гением, хорошее знакомство с особенностями стиля и манеры общения полководца с войсками позволило ему замечательно кратко определить военное красноречие следующим образом: «Красноречие сие есть искусство вдыхать в сердца чувство соревнования и храбрости, возбуждать к чести и славе» [67, С. 4].

Авторству Е.Б. Фукса, благодарную память которого мы хотим почтить на страницах этой книги, принадлежит и совершенно правильно подмеченные особенности военной речи, которые во многом объясняют, почему до сих пор ни риториками, ни лингвистами, ни филологами не делалось попыток придать военной риторике законченную форму:

«Но должно признаться, что красноречие военное отличается весьма от духовного и гражданского. В сих наблюдается тщательно строгая правильность в разложении всех частей речи, чтобы действовать на ум ученостью, — военное же действует на сердце и воображение. Военный оратор предстоит своему воинству, в виду которого победа, или смерть. Его речь кратка и быстра, подобна пулям и ядрам, которая нередко прекращают период в самом его начале. Тут красноречие и действие вместе. Он говорит и поражает. Минуты драгоценны. Речь его одушевляется временем, местом и нечаянностью (внезапностью, неожиданностью — прим. наше — авт.) обстоятельств. **Не нужна тут чистота слога академика. Иногда самая неправильность в выражении, отпечатывающая смятение войны, бывает полезна.** Там одно слово: Бог, Отечество, слава, или честь, собирает всех в одну душу. **Нужно вообще, чтобы мысли, выбор выражений были совершенно военные. Солдатам надобно говорить языком внятным, солдатским** (выделено нами. — авт.). Война зависит от сил физических и нравственных. Первые подчинены искусному образованию военного начальства, но нравственные требуют совсем другаго влияния. Солдат, чтобы сражаться с мужеством, не может быть руководим одною лишь дисциплиною. Его должна подстрекать страсть; и если ея в нем нет, то должно уметь в нем ее возродить. Разуму предлежит приводить в движение все силы армии, сей воинственной машины. Вот тайны Александров и всех великих полководцев!» [67, С. 5].

Федеральные образовательные стандарты третьего поколения предполагают разработку индивидуальных образовательных траекторий и наполнение учебного плана высшего учебного заведения дисциплинами, выбираемыми самими обучающимися. Для включения в индивидуальные учебные планы обучающихся может быть рекомендована «Военная риторика», как дисциплина, расположенная на стыке многих предметных областей наук социально-гуманитарного цикла, изучение которой позволяет говорить о формировании «синтетической» коммуникативной компетенции обучающихся, востребованной практически во всех сферах деятельности военного специалиста.

Изучение военной риторики целесообразно начинать со времени ее возникновения в античности, времени, когда были заложены ее основы, оформились основные жанровые особенности военной речи и были явлены блестящие образцы речей, представляющие богатейший материал для исследования.

Предлагаемая вниманию читателя монография является первой частью обширного труда по военной риторике, охватывающего все стадии ее возникновения, становления и развития до настоящего времени, призванного служить научным основанием построения курса дисциплины «Военная риторика» для высших военных учебных заведений. Монография предназначена для широкого круга читателей: от курсантов (в рамках высшего профессионального образования) до офицеров, обучающихся в системе дополнительного профессионального образования, а также всех, кто интересуется военной словесностью.

Монография состоит из пяти глав. В первой главе анализируются литературные истоки военной риторики античности, воплощенные в героическом эпосе поэм «Илиады» и «Одиссеи». Во второй главе обосновывается правомерность использования трудов историков для изучения генезиса жанровых форм и содержания военной риторики. Третья и четвертая главы посвящены исследованию военной риторики соответственно Древней Греции и Древнего Рима. В пятой главе рассматриваются особенности военной риторики Древнего Востока.

## Введение

Вызывает удивление прочему за века развития классической риторики человечество всего лишь раз обращалось к разработке столь важной частной риторики как военная. Более того, при многовековой речевой практике, связанной с обеспечением задач вооруженной борьбы, возникшей, надо полагать, с началом человеческой цивилизации, до настоящего времени не складывались предпосылки для систематизации и обобщения многочисленного эмпирического материала. Разгадка этого феномена, на наш взгляд, кроется в самом характере взаимоотношений армии, гражданского общества и государства. При многократных, порой весьма противоречивых, изменениях форм осуществления верховной власти, принципов государственного устройства, форм общественных и производственных отношений только одна государственная структура фактически оставалась верной принципу, заложенному в нее, наверно, еще со времен фараонов.

Эта структура — вооруженные силы и этот принцип — единоначалие. Парадоксально, но ни демократии, при которых, собственно, возникла и бурно развивалась классическая риторика, ни монархии, ни тирании, верховные вожди которых, кажется, все до одного предпочитали носить военные мундиры, не были заинтересованы в развитии военной риторики.

Демократические государства всегда в большей или меньшей степени ощущали явный диссонанс принципа единоначалия и «народовластия», некоторую его даже чужеродность общественному устройству, вследствие чего относились к вооруженным силам с большей или меньшей степенью настороженности. Главной их задачей было поставить армию под контроль гражданских властей. Рабовладельческие демократии Древней Греции и республиканского Рима (до военной реформы Гая Мария) комплектовали армию и флот обычными гражданами только в период возникновения военной угрозы. Относительная эпизодичность потребности в военном красноречии, в отличие от постоянно востребованной в политической и повседневной жизни совещательной и судебной речи соответственно, не создавала предпосылок разработки военной риторики.

Внутренне близкие, даже тождественные принципу единоначалия принципы государственного устройства монархии и тирании

также не создавали этих предпосылок в силу того, что, согласно Аристотелю, общественное государственное устройство есть, прежде всего, речевая организация общества: «Общение вполне завершённое... образует государство». И при тирании, и при монархии право на речь принадлежит одному человеку, который, к тому же, вынужден ревниво следить, чтобы его прерогативы в этой сфере не ущемлялись чересчур ретивыми подданными, особенно стоящими во главе вооружённой силы. Чтобы убедиться, достаточно вспомнить, что нарушение этого правила, например, в императорском Риме привело к калейдоскопической смене на троне целой плеяды властителей. «Да будет целью солдатской амбиции точная пригонка амуниции», — пронизательно сформулировал желательное для властей направление приложения военных усилий в мирное время Козьма Прутков; принцип, который неукоснительно продолжает соблюдаться и поныне. После этого до знаменитого «не рассуждать!» было, как говорится, рукой подать.

Этим и объясняется тот факт, что за обозримый исторический период военная риторика существовала в единственном жанре вдохновляющей речи полководцев перед началом сражения, риторической разработки которой, к тому же, не проводилось вплоть до настоящего времени. В условиях воздействия внешней угрозы гражданская власть благоразумно «закрывала глаза» на речетворчество военных, предоставляя им некоторую самостоятельность для достижения желаемого результата. «Воюй же как сам знаешь», — бесхитростно напутствовал Павел Петрович извлеченного из ссылки и забвения А.В. Суворова, отправляя его в Итальянский поход. Таким образом, военная риторика была востребована исключительно во времена обострения военной опасности, угрожавшей самому существованию гражданской власти, и немедленно предавалась забвению по ликвидации этой опасности.

Единственная военная риторика под названием «Военное красноречие, основанное на общих началах словесности, с присовокуплением примеров в разных родах оного», принадлежавшая перу профессора Санкт-Петербургского университета Якова Васильевича Толмачева (1779—1873), увидела свет в нашей стране в 1825 году. Волна гражданственности и патриотизма, столь мощно всколыхнувшая все слои российского общества в 1812 году, вынесла из недр народного духа все то лучшее, что было накоплено в русской

национальной школе воинского воспитания и русской героической словесности. Эта волна, столь трагически разбившаяся о гранит Сенатской площади в декабре 1825 года, была исключительным в отечественной истории примером консолидации интересов, «согласия» военного и гражданского сословий. Последовавшая затем николаевская «эпоха застоя и оскудения духа» свела воинское речевое воспитание к насаждению верноподданнических настроений и печально знаменитой «словесности», всю убогость которой так точно описал А.И. Куприн. В такой армии речевое воспитание солдата и офицера, а тем более «вдохновение» его какими-либо идеями, кроме преданности «престол-Отечеству», вызывало подозрение. Вполне, поэтому, закономерно, что сильные и смелые мысли, явленные в военной риторике Я.В. Толмачева, не нашли отклика в тогдашнем министерстве народного просвещения; он был заподозрен в вольнодумстве, уволен из штатов университета, а развитие военной риторики остановилось на столетия.

Итак, военная риторика с древности была свойственна почти исключительно речи военных, ибо глава государства (вождь, царь, король, император) в сословном аристократическом обществе рабовладельческого и феодального строя в то же время являлся в большинстве случаев и полководцем.

С возникновением капитализма и неразрывно связанной с ним парламентской системы, военная риторика все чаще начала использоваться в речи гражданских государственных деятелей. Это было связано с возникновением массовых армий «вооруженного народа» и с изменившимся характером войн, которые приобрели характер не только противоборства вооруженных сил, но и противостояния целых народов. Задачи милитаризации гражданского общества, мобилизации на борьбу всего народа потребовали расширения сферы применения военной риторики. В качестве ораторов теперь стали выступать главы государств, являвшиеся номинально и верховными главнокомандующими, и государственные деятели меньшего масштаба, а их аудитория, благодаря наличию средств массовой пропаганды, расширилась на всю страну. Возник целый риторический жанр, который можно назвать «демонстрация силы», имеющий много общего с вдохновляющей речью, нацеленный на сплочение и мобилизацию гражданского населения, всегда (в силу недостатка информации и отсутствия целенаправленной

психологической подготовки) особенно остро реагирующего на малейшие нюансы хода военных действий. Классическим примером использования этого жанра могут служить речи государственных деятелей периода Второй мировой войны, в частности, знаменитая речь И.В. Сталина на параде 7 ноября 1941 года.

Задачей нашего исследования является попытка проследить историю развития жанровых форм военной риторики, их взаимосвязь с господствующей идеологией, историческими формами осуществления государственной власти, принципами комплектования вооруженных сил и способами ведения вооруженной борьбы. В работе прослеживается соответствие между уровнем развития общей (классической) риторики и содержанием военной риторики Древнего мира определенного исторического периода.

Вся античная военная риторика опирается на гомеровский классический канон «Илиады» и «Одиссеи». Точно так же и великие историки античности следовали Гомеру, ибо его эпические поэмы — не что иное, как описание реально происходивших исторических событий. Риторика была жива до тех пор, пока существовало классическое образование, опиравшееся во многом на произведения классиков античности и собственно греческий и латынь.

Содержанием классической истории была история человеческого духа; действия исторических личностей, народные движения только свидетельствовали о нем. В центре же истории всегда стоял человек как личность. С реформой современного образования в начале XX века уходят в прошлое и великая военная риторика, и великие историки. История перестает интересоваться характерами персонажей, отдавая предпочтение статистике, датам и цифрам, заменяя живое историческое повествование сухим перечислением событий и их трактовкой по произволу самих историков. Однако взгляд и мнение одного человека непременно будут оспорены взглядами и мнениями массы других, особенно в связи с развитием образования и возросшей доступностью информации. Каждое историческое событие теперь порождает множественность взглядов на него, подкрепляемое, к тому же, обилием более или менее объективных свидетельств очевидцев и мемуаристов. Риторика, не находя в истории общеизвестных, волнующих воображение примеров, фактически перестает быть собой. Пример теряет характер топа, а следовательно, и свою убеждающую силу. Все великие речи создавались и восторженно принимались

людьми, для которых история представляла собой живую ткань смены поколений, для которых взывание оратора к доблестям древних героев означало обращение к памяти о собственных предках, пусть и отделенных от них во времени, но неразрывно связанных по духу.

# Глава 1. ГОМЕРОВСКИЙ РИТОРИЧЕСКИЙ КАНОН

Несмотря на то, что общепринятое мнение относит возникновение риторики к V веку до н.э., истинным родоначальником риторики и вдохновителем признанных учителей красноречия ряд исследователей (А.Ф. Лосев, М.М. Покровский, А.К. Михальская) считает Гомера. И если говорить об истоках военной риторики, то и в этом вопросе начинать следует с Гомера. В его эпических героических поэмах «Илиада» и «Одиссея» наряду с драматическим, что отмечал еще академик М.М. Покровский, ярко проявляется и ораторское начало.

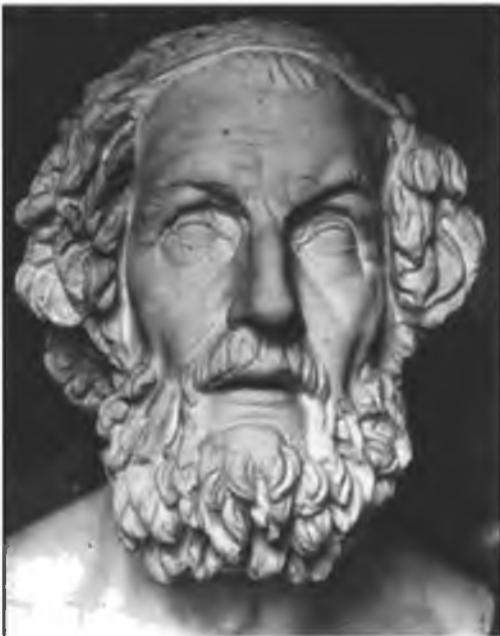


Рис. 1. Гомер

Из анализа гомеровских текстов мы видим, что красноречие в Греции задолго до Эмпедокла, Коракса и Тисия, задолго до софистов и Аристотеля было широко распространено. Софисты обещали научить учеников быть «искусными в словах и делах» [32, С. 270], что представляет логоэпистемоид (в терминах В.Г. Костомарова и Н.Д. Бурвиковой) одного из выражений «Илиады». Многие из великих героев «Илиады» и «Одиссеи» сочетают в себе мужественность, силу и другие чисто военные добродетели с даром ораторского слова. Одиссей с гордостью говорит вызвавшим его на состязание феакам о том почете, которым

оказывался на его родине оратор:

С виду иной человек совершенно как будто ничтожен,  
Слову ж его божество придает несказанную прелесть;  
Всем он словами внушает восторг, говорит без запинки,  
Мягко, почтительно. Каждый его на собраньи заметит.  
В городе все на него, повстречавшись, глядят, как на бога.

[Одиссея, 8, 165]

Отец Ахиллеса, Пелей, характеризуется Нестором как «славный оратор и мудрый советник в земле мирмидонцев». Пелей с юности представляет к сыну престарелого Феникса — учить того «в слове орато-

ром быть — и быть совершителем в деле», т.е. красноречию и военному делу, поскольку только в этих видах деятельности «славой венчаются люди». Ахиллес более отличается в битвах, но сын его Неоптолем не только воин, не знающий страха, но и искусный оратор, про которого Одиссей говорит:

Если вокруг Илиона, бывало, совет мы держали,  
Первым всегда выступал он со словом полезным и дельным.  
Нестор, подобный богам, и я лишь его побеждали.

[Одиссея, 11, 510]

Вождь греков Агамемнон упрекает одного из храбрейших греческих героев Диомеда, что он, уступая отцу своему Тидею в храбрости, превосходит его «лишь в собраниях», величайший оратор греков Нестор одобряет речь Диомеда, произнесенную в опаснейший для греков момент:

Сын знаменитый Тидея! И в битвах кровавых могуч ты,  
И оказался меж сверстников всех наилучшим в советах.

[Илиада, 9, 50]

Красноречие самого Нестора, многократно в «Илиаде» признаваемого «сладкоречивым», «приятным», про которого Гомер говорит, что «слаще пчелиного меда текли с языка его речи» заслуживает высочайшей оценки Агамемнона:

Старец, разумностью речи ты всех побеждаешь ахейцев!  
Если б, о Зевс, наш родитель, и вы, Аполлон и Афина,  
Десять таких у меня среди ахейцев советников было, —  
Скоро бы город Приама властителя в прах превратился...

[Илиада, 2, 370]

Красноречие у Гомера — естественная черта умудренных опытом народных вождей и старейшин, как например, царских советников Приама:

Старость мешала в войне принимать им участие; но были  
Красноречивы они и подобны цикадам, что, сидя  
В ветках деревьев, приятнейшим голосом лес оглашают.

[Илиада, 3, 150]

Хорошо говорят все, без исключения, гомеровские герои, как греки, так и троянцы. Даже острые речи презренного простолюдина Терсита, как можно судить, пользовались успехом у греческих воинов, недаром Одиссею вменялось в особую заслугу то, что он сумел обуздать поток его злобного красноречия.

Уже у Гомера мы находим все три рода речей, выведенных впоследствии Аристотелем в его «Риторике»: судебные, совещательные и эпидиктические.

Распря вождей греческого войска в первой песне «Илиады» из-за судьбы пленницы Хрисеиды представляет собой образец речей судебных, для которых, по определению Аристотеля, «целью служит справедливое и несправедливое». Высокие тяжущиеся стороны не чураются в речах нападок и личных оскорблений, доходящих до брани. Агамемнон, не желающий отдавать пленницу, приводит в качестве аргумента то, что он, вождь, остается в этом случае единственным среди греков без награды и грозит отнять взамен то, что приглянется ему у других. Отвечая ему, Ахиллес клянет его «корыстнейшим мужем» и красноречиво упрекает, что его, Ахиллеса, подвиги, приносившие грекам победу, никогда не бывали оценены высоко, и его доля добычи всегда была меньше доли, присуждаемой царю. Исчерпав доводы, Агамемнон прибегает к угрозам забрать долю Ахилла:

Силой насколько я выше тебя, и чтоб каждый страшился  
Ставить со мною себя наравне и тягаться со мною!

[Илиада, 1, 186]

Кровопролитие кажется неминуемым, и старец Нестор вынужден выступить арбитром в споре вождей. Скоро, однако, выясняется, что речь, собственно, идет не о добыче, а о притязаниях на власть и влияние между героями. Положение спасает явившаяся Афина, своим повелением Ахиллесу превратившая первобытное смертоубийство в некое подобие парламентской фракционной борьбы:

Ну, оканчивай ссору, рукою меча не касайся!  
Словом, впрочем, ругайся, каким тебе будет угодно.

[Илиада, 1, 210]

Вожди расходятся относительно мирно, лишь «меж собою сражаясь словами враждебными». Принимая во внимание условия военного времени, тогдашние характеры, и нравы, можно только удивляться, что и в гомеровскую эпоху люди достаточно эффективно пользовались словом, как средством разрешения тяжб и спорных вопросов.

Совещательными речами, главная цель которых по Аристотелю обсуждение что есть «польза или вред», наполнены почти все песни «Илиады». Совещательной является уже упоминавшаяся речь Нестора

в споре вождей из-за Хрисеиды. «Мой не отриньте совет» просит он, увещевая Ахиллеса и Агамемнона прекратить гибельную ссору.

Когда Агамемнон, обольщенный сонным видением, решил испытать войско сообщением, будто бы Зевс отступился от ахейцев, и что им остается только возвратиться на родину, то войско с радостью и бурной стремительностью поспешило спускать корабли. В общей суматохе Афина находит единственного, кто еще способен спасти положение — Одиссея и велит ему: «Мягкою речью своею удерживай каждого мужа, / Чтоб не стаскивал в море судов обоюдovesельных». По ее требованию тот берется за это исключительно трудное дело и исполняет его, благодаря гибкости своего ораторского таланта, с полным блеском. Вождей он кротко убеждает и ободряет действительно «мягкою» речью, но простых, незнатных воинов не стесняется и ругать «оскорбительной речью»:

Смолкни, несчастный! Садись-ка и слушай, что скажут другие,  
Те, что получше тебя!

[Илиада, 2, 200]

После водворения порядка Одиссей выступает с убеждающей речью, тонко рассчитанной и на чувство чести, и на богобоязненность слушателей: да, война действительно затянулась, и действительно пора усталым воинам вернуться на родную землю; но они дали слово Агамемнону биться до конца; им стыдно будет бросить дело, не кончив его. Он напоминает о благоприятном знаменнии, явленном им в начале войны и истолкованном прорицателем Калхасом в смысле разрушения Трои на десятый год осады.

Так говорил он. И громко в ответ аргивяне вскричали.  
Речью, им сказанной, всех восхитил Одиссей богоравный.

[Илиада, 2, 235]

Но самый разумный совет дает грекам выступающий вторым Нестор: во-первых, после возвышенных доводов Одиссея он весьма прагматично апеллирует к низменным чувствам толпы, призывая воинов не возвращаться домой «не переспавши в постели с плененной женою троянца»; а во-вторых, предлагает разделить войско на племена и фратрии для того, чтобы внести в сражения дух состязательности и вместе с тем отличать доблестных вождей и воинов от уклоняющихся от боя.

В этом любопытном эпизоде отчетливо проявляется влияние этоса на содержание совещательной речи. Речи Одиссея и Нестора фактически иллюстрируют то место VII главы аристотелевой «Риторики», которая

содержит рассуждения о большем или меньшем благе, т.е. об основаниях рассуждений «откуда нужно черпать способы убеждения».

В критический для греков момент, когда они разбиты и отброшены к кораблям, Агамемнон тайно собирает вождей на военный совет, чтобы решить: не пора ли снимать осаду и под покровом темноты отплыть обратно. Теперь уже Диомед в краткой, но сильной речи упрекает дрогнувшего царя за малодушие.

Что ж, уезжай! Пред тобою дорога открыта, у моря  
Много стоит кораблей, из Микены приплывших с тобою!  
Все же другие ахейцы останутся здесь перед Троей.  
Мы не уедем, ее не разрушив!

[Илиада, 9, 43]

Рассудительный Нестор предлагает царю, выставив ночную стражу, задать для ободрения упавших духом вождей пир и, самое главное, советует послать посольство к обиженному Ахиллесу с тем, чтобы убедить его принять участие в битве. Как можно заметить Нестор вообще непреременный творец всех решений ахейцев. Если после ярких речей Одиссея или Диомеда поднимается одобрительный крик, то речи Нестора непременно венчает внимательное молчание и согласие. Его доводы к разуму как бы дополняют доводы к чувствам в речах более молодых и пылких вождей, давая законченный образец совещательной речи.

Речи, произнесенные во время неудавшегося посольства также весьма примечательны. По сути это эпидиктические речи, имеющие целью показать, что решение Ахиллеса примкнуть к сражающимся будет благом как для него самого, так и для ахейцев. Особенно тонко с точки зрения композиции и аргументации выстроена речь Одиссея. Наименее сильный для благородного Ахиллеса довод об обещаниях и дарах Агамемнона подан как бы между делом, между напоминанием о заветах отца и обещанием бессмертной славы в случае победы над Гектором.

Престарелый воспитатель Ахилла Феникс строит свою речь с тонким психологическим расчетом, начиная с воспоминаний о детстве Ахиллеса (теме, являющейся бесконечным источником положительных эмоций, наиболее приятной каждому человеку), и о собственных трудах и заботах, положенных им на воспитание героя, что является типичным случаем использования аргументов к жалости; затем приводится пример поведения сурового оскорбленного Мелеагра, который даже без даров склонился на просьбы сограждан помочь родному городу. Эти

речи реализуют выведенные впоследствии Аристотелем условия убедительности, основанные на *характере речи* и *настроении слушателя*. Наконец об искренности посольства свидетельствует безыскусное выступление Аякса, воззвавшего к чувству товарищества. О не случайности выбора простодушного великана Теламонида в качестве посла говорит тот факт, что только после его слов Ахиллес удостоверился, что посольство «хитроумного» Одиссея — не лукавство. «Кажется мне, говорил ты как будто вполне откровенно» — только сейчас, словно нехотя, замечает он, в то время как на речи властителя Итаки отвечал «сурово и грозно», как бы подтверждая существование третьего условия убедительности, основанного на *характере говорящего* [Аристотель «Риторика», гл 9].

Когда же наступает самый страшный для греков момент, когда большая часть героев ранена, пала стена, ограждавшая лагерь ахейцев, и закипает бой у самых кораблей, Нестор обращается к Агамемнону с просьбой собрать совет: «Следует нам обсудить, как дальше все дело устроить, / Если помочь еще можно умом». Агамемнон в ужасе готов уже во время боя спустить часть кораблей в море и лучше бежать, чем погибнуть.

Однако помочь умом оказалось возможно и в этот критический момент. Блестящая, эмоциональная речь Одиссея содержит здравые рассуждения об опасности паники, которая неминуемо охватит сражающихся еще греков при первых признаках отступления. Венчает дело речь Диомеда, посоветовавшего израненным вождям не участвовать непосредственно в битве, но:

...На бой лишь других побуждать, — всех тех, что доселе,  
Слушаясь робкого сердца, стоят вдалеке и не бьются.

[Илиада, 12, 131]

Помочь умом — вот основное содержание совещательных риторических речей. И в этих средствах нет недостатка ни у греков, ни у троянцев. «Шлемоблещущему» Гектору советует и герой Сарпедон, и, в особенности, «безупречный» Пулидамант, единственный из троянцев, кто по выражению Гомера «только один между всеми смотрел и вперед, и назад», выдаваясь речами, как «Гектор — могучею пикой» и вообще имевший на вождя троянцев сильное влияние. Именно он предлагает троянцам перед штурмом стены, защищавшей лагерь ахейцев, сойти с колесниц и продолжать бой пешими; именно он, заметив, что троянцы рассеяны по полю битвы, и на левом крыле греки начинают брать

верх, советует Гектору немедленно перегруппировать войска, чтобы избежать неминуемого поражения. И, несмотря на то, что Гектору мало приятны советы «человека из народа», ему «умное слово понравилось Пулидаманта»; также и в другом месте говорится, что «одобрил слова справедливые Гектор». О том, какое влияние имело на события Троянской войны могущественное слово оратора говорит тот факт, что на гибельную для него схватку с Ахиллом Гектор решается главным образом... из стыда перед возможными упреками Пулидаманта.

Горе мне! Если отсюда в ворота и в стены я скроюсь,  
Первый же Пулидамант мне поставит в упрек, что троянцев  
Он мне совет подавал назад отвести к Илиону  
В ту злополучную ночь, как Пелид поднялся богоравный.  
Я не послушал его. А намного б то было полезней!

[Илиада, 21, 99]

Однако «помочь умом» оказывается на войне возможно далеко не всегда и не всем. Совещательные речи — для умудренных опытом вождей, для относительно спокойной обстановки, когда люди способны оценить разумность аргументов. Для простых воинов, даже и для героев, находящихся в гуще кровавой схватки, измученных многочасовым боем, подавленных потерями товарищей, нужны совсем другие речи. Этот вид речей не получил, как уже отмечалось, теоретической разработки у классиков античной риторики, но именно эти речи составляют основной массив «окрыленных слов» военных ораторов «Илиады».

Эти речи по праву можно назвать *вдохновляющими*. Не мобилизующими, поскольку это понятие было неизвестно древним и мало что говорит в силу своего происхождения русскому человеку; не воодушевляющими, поскольку душа в древнегреческой онтологии воспринималась как бессильный слепок, калька человеческой личности. Душа убитого Патрокла, явившаяся Ахиллесу, жалуется другу, «рыдая и горько печалась», едва пищит; «жизненной силы в ней нету», — отмечает пораженный Ахилл. Сами герои, ободряя в бою друг друга, призывают возвыситься «бестрепетным духом» [Илиада, 5, 529]. Нет, не к душам воинов обращают среди кровавой схватки вожди свои речи, но к духу, роднящим их с бессмертными богами.

Битва начинается не раньше, чем Агамемнон обойдет войска, обращаясь к ним с «крылатою речью»; вожди и герои обеих сторон, даже простые воины в кровавой свалке за тело сраженного Патрокла находят время подбодрить друг друга краткими словами. Эти речи, естественно,

и не могут быть длинными. Во-первых, потому, что условия боя не позволяют говорить долго, но требуют выражать мысль сильно и точно; во-вторых, из-за протяженности боевого построения и шума битвы они, скорее всего, выкрикиваются бойцами, недаром в тексте они изобилуют восклицательными интонациями.

Содержание вдохновляющих речей как древнейшего жанра военной речи весьма разнообразно. Это и своеобразная форма боевого приказа («так, раздавая приказы, ряды обходил Агамемнон»), и средство психологической подготовки перед сражением, формирования убежденности в праведности целей борьбы, и, самое главное, средство поддержания высокого боевого настроения войск. Большинство вдохновляющих речей венчает фраза, ставшая своеобразным рефреном поэмы: «Так говоря, возбудил он и силу, и мужество в каждом» [И. 5, 470; И. 5, 792; И. 10, 291; И. 13, 155; И. 15, 500; И. 15, 514; И. 15, 668; И. 16, 210; И. 16, 275].

Таким образом, жанр вдохновляющей речи является синтетическим, с усложнением средств и форм ведения вооруженной борьбы, как будет показано далее, постепенно развившимся в целый ряд жанров военной речи.

В речах героев «Илиады» заявлены и основные виды пафоса вдохновляющей речи: *патриотический* пафос защиты родины и *героический* пафос искания личной чести, славы и воинской доблести. Прекрасен порыв и возвышенные призывы «защитника Трои» Гектора, отголоски мотивов которого мы находим в речах всех сражавшихся за родину:

Бейтесь, сомкнувши ряды, пред судами! А если из вас кто  
Будет смертью и роком настигнут, сраженный врагами,  
Тот умирай! Не бесславно ему, защищая отчизну,  
Гибель принять! Но жена его, дети останутся живы...

[Илиада, 15, 494]

*Героический* пафос речей греческих героев вынужденно ограничен в силу того, что формально праведная причина войны (похищение жены царя Менелая) в сознании простых воинов на десятый год войны стерлась и стала эфемерной. На нее нет ни одной ссылки в обращениях к войскам греческих вождей. Только сам оскорбленный супруг в единоборствах еще попрекает троянцев похищением жены и нарушенными законами гостеприимства. Формально ахейцы выступают (и сами осознают это!) в роли типичных захватчиков, а раз так, то и пафос их речей тоже довольно традиционен для такого рода воителей.

Сын Теламонов с другой стороны восклицал пред своими:  
 «Стыд, ахейцы! Нам выбор единственный: либо погибнуть,  
 Либо спастись, отразивши беду от судов мореходных.  
 Если захватит у нас корабли шлемоблещущий Гектор,  
 Вы не пешком ли хотите отправиться в землю родную?»

[Илиада, 12, 501]

Греками, по сути, движет страх поражения, ибо, как убедительно показал Одиссей, отплытие тоже сопряжено с немалой опасностью, позор и стыд перед соотечественниками за бесславное возвращение с войны без добычи, с пустыми руками. В тяжелые минуты «удерживал вместе / Стыд их и страх», — свидетельствует Гомер. Этот стыд можно трактовать и как апелляцию к воинской чести: «В схватках могучих сражаясь, стыдитесь друг перед другом...» [Илиада, 5, 529]. Правда в решающий момент боя у кораблей, когда судьба греков висела на волоске мудрый Нестор, видя, что прежние доводы уже не действуют, в панике закликает ахейцев именами их престарелых родителей, живых и умерших (!), детей и жен, даже непонятно почему имуществом, оставленным дома. Эта бессвязная речь лучше всяких описаний битвы свидетельствует о катастрофическом положении, в котором оказались греки.

Жертвенный *патриотический* пафос Гектора, призывающего троянцев к славной гибели за отчизну, за дома и семьи, прекрасные рассуждения Сарпедона об обязанностях аристократии, да и просто любого благородного человека перед своим народом много сильнее и красноречивей несколько однообразных призывов ахейских вождей к стыду и воинской чести греков. Не случайно более чем вдесятеро слабейшие по признанию самого Агамемнона троянцы смогли так долго сдерживать натиск многочисленного врага и даже едва не одержали над ним победу.

Помимо вдохновляющей речи военная риторика героического эпоса Гомера реализуется еще в одном чрезвычайно любопытном жанре, который в процессе своего развития также дал множество вариантов, слабые отголоски которого дошли и до наших дней. Это жанр *боевого вызова*. Функции этого архаического жанра военной речи весьма разнообразны. Прежде всего, очевидно, это функция как сказали бы сейчас морально-психологического обеспечения боевых действий. Для этого применяется широкий спектр приемов: от восхваления собственной силы, храбрости и непобедимости, до насмешки, издевательства,

уничужения врага, что попутно, очевидно, служило и ободрению своих. Причем особенно острым насмешкам подвергаются убитые неприятели; зрелище ужасной смерти на поле боя вызывает тот труднообъяснимый смех, который впоследствии так тонко подмечали и Л.Н. Толстой, и В.М. Гаршин. В похвальбе победой герои особенно красноречивы.

Над Кебрионом смеясь, сказал тут, Патрокл конеборец:  
«Право же, как человек этот легок! Как ловко ныряет!  
Если бы на море, рыбой обильном, он вдруг очутился,  
Многих сумел бы насытить он, устриц ища, для которых  
Прыгал бы в море с судна, как бы ни было море сердито,  
Так же легко, как и здесь, на земле, он нырнул  
с колесницы!»

[Илиада, 15, 744]

Пока же противник жив, самое главное — напугать его, подавить его волю к сопротивлению, заставить усомниться в собственных силах.

К Гектору он обратился, свирепо его оглядевши:  
«Ближе иди, чтоб скорее предела ты смерти достигнул!»

[Илиада, 20, 428]

Гектор, однако, как и все герои, прекрасно знает риторические каноны военной речи, и сам умеет «и посмеяться над каждым, и колкое вымолвить слово».

Просто болтал ты, речами меня обмануть домогаясь,  
Чтобы, тебя испугавшись, про силу и храбрость забыл я!  
Не побегу от тебя, не в спину ты пику мне всадишь!

[Илиада, 22, 281]

Нередко опытные в военном деле и владеющие правилами словесных поединков герои прямо предлагают соперникам оставить оскорбительные речи и переходить к бою. Тем не менее, схватки развиваются по строго разработанному ритуалу, что заставляет предположить наличие и другой функции жанра боевого вызова — функции психической саморегуляции воина, вступающего в сражение. Когда судьба сводит в единоборстве сына Геракла грека Тлеполема и ликийца Сарпедона — двух потомков Зевса, Тлеполем, который приходится Зевсу внуком отчаянно пытается убедить себя, что его противник Сарпедон — сын Громовержца — и трусоват, и значительно слабее его физически, а значит, несмотря на высшее положение в близости к «божественной иерархии», должен несомненно пасть.

«Что у тебя за нужда, Сарпедон, советчик ликийцев,  
Ежиться здесь и дрожать? Ничего ведь в боях ты не смыслишь  
Кто это лжет, будто сын ты эгидодержавного Зевса?  
Нет, несравненно слабее мужей ты, которые раньше  
На свет родились от туч собирателя Зевса-Кронида,  
И каковым, говорят нам, великая сила Геракла  
Был мой родитель, герой дерзновеннейший, львиное сердце».

[Илиада, 5, 633]

В отличие от Тлеполема Сарпедон вполне уверен в себе, его ответ краток: он немногословно обещает отправить противника к «конесланному богу Аиду» и сдерживает обещание.

Наконец эпическим героям в высшей степени свойственна воинская сословная гордость, столь пышно расцветшая впоследствии во времена рыцарского Средневековья. Для них очень мало чести избивать простых воинов; эти античные рыцари ищут славы от победы над известным и сильным противником. О том, какое значение придавалось этой славе говорит тот факт, что даже умирающий (!) Патрокл мстительно указывает торжествующему победу над ним Гектору, что его удар, хоть и решающий, был только третьим по счету. Рассказать о своем славном происхождении, чтобы выбрать достойного соперника — эта задача также решается боевым вызовом. «Происхожденье друг друга мы знаем, родителей знаем», — отвечает на традиционный оскорбительно-насмешливый вызов Ахиллеса Эней, предлагая перейти к схватке.

От таких обменов вызовами последствия могли быть самыми непредсказуемыми. Так знаменитый греческий герой «могучеголосый» Диомед, сойдясь на бранном поле с прежде неизвестным ему ликийцем Главком, союзником троянцев, после обмена вызовами с изумлением обнаруживает, что их деда находились между собой в большой дружбе. Охваченный трогательными, очевидно, поскольку отца он не помнил, воспоминаниями о любимом деде, Диомед предлагает разойтись миром и даже обменяться в знак дедовской дружбы оружием. Главк, надо думать, был несказанно рад, что дело обошлось таким образом, потому что далее Гомер ядовито замечает, что тот наверно на радостях потерял рассудок, раз отдал

Он Диомеду Тидиду на медный доспех — золотой свой,  
Стоящий сотню быков, обменял на ценящийся в девять.

[Илиада, 6, 235]

Типично рыцарское благородство, изысканную велеречивость, можно даже сказать некую воинскую «куртуазность» демонстрируют преисполнившиеся после схватки уважением друг к другу Гектор и Аякс Теламонид, что также заканчивается обменом оружием.

Особое место и значение во всех видах речей гомеровской риторики имеют обращения к богам. Религиозное чувство, что вполне естественно, проявляется с особой силой именно на войне, когда взвешенность жребиев человеческой жизни становится особенно очевидной. Но религиозные чувства гомеровских героев не становятся предметом антагонистического противостояния: греки и троянцы поклоняются одним и тем же богам. Эта относительная «веротерпимость» — вообще отличительный признак античности, который сохранялся вплоть до времени императорского Рима.

Ни одна из сторон еще не претендует на обладание монополией на истинную веру. Отсюда такая чуткость античного сознания к судьбе, к разного рода прорицаниям, знамениям и их толкованиям, как средству определить на чью сторону в настоящий момент склоняются переменчивые боги. Отсюда, с другой стороны, и такая свобода использования этих толкований в зависимости от нужд текущего момента. Толкуя троекратный раскат грома как верное знамение победы, Гектор взывает к атакующим троянцам:

«Знаю, что мне благосклонно владыка Кронид обещает  
В битве победу и славу великую, им же — гибель!

[Илиада, 8, 175]

Но тот же Гектор мужественно отвергает толкование другого знамения, неблагоприятного для троянцев:

«Знаменье лучшее всех — лишь одно: за отчизну сражаться!»

[Илиада, 12, 243]

Оставляя здесь в стороне вопросы как о собственно религиозности, так и о содержании и истоках религиозности Гомера и изображаемых им героев, отметим только сами факты использования молитвы как элемента публичной речи. Их немного. Только, пожалуй, Гектор в 6-й песне ободряет отступающих в беспорядке троянцев, сообщая им, что он удаляется в город, чтобы побудить население молить богов и принести жертвы за победу защитников города. Он же, отраженный ахейцами от кораблей, уверяет обескураженных троянцев, что его ведет воля

и благоволение Зевса, обещавшего ему помощь в битве. В остальных же случаях многочисленные, в общем, молитвы героев являются личными, как например, обращения к Афине Одиссея и Аякса в 10-й песне и не преследуют цели вдохнуть веру и новые силы в воинов. В целом, на основе анализа текста поэмы можно констатировать, что религия у Гомера еще не стала яблоком раздора между народами и поэтому апелляция к ней не считается действенным элементом риторического воздействия на массы, а значит, и не рассматривается в качестве жанра военной речи.

\* \* \*

Влияние Гомера на культуру и историю античности было огромно. Большинству людей того времени Гомер представлялся средоточием всей человеческой мудрости. Из его произведений выдающиеся учителя красноречия не только черпали, как сказали бы сейчас, «литературные примеры», но и находили богатейший материал для обобщений и выводов, создавая собственные риторики.

Если следовать распространенному взгляду на происхождение риторического искусства от вышеупомянутых софистов, логично было бы искать в произведениях, скажем, Аристотеля ссылки и цитаты из их произведений. Тем не менее, в большинстве случаев он ссылается и цитирует героические поэмы Гомера. На ученика софиста Горгия Алкидаманта Аристотель ссылается в 13-й главе первой книги и в 23-й главе второй книги своей «Риторики». И тот и другой упоминаются, правда, с критическим оттенком в 3-й главе третьей книги, повествующей о стиле. Упоминание о Горгии и другом его ученике Исократе находим также в 14-й и 19-й главах.

Гомер цитируется значительно чаще. В главах об определении удовольствия (кн.1, 11 гл. 11), о гневе (кн.2, гл. 2), милосердии (кн.2, гл. 3) и негодовании (кн.2, гл. 9) встречаем выдержки из Гомера. В рассуждении об изречениях (кн.2, гл. 21) рекомендуется пользоваться изречениями распространенными и общеупотребительными; «они кажутся справедливыми, ибо признаны всеми за таковые». А что может быть более распространенным, чем примеры из литературной классики? Поэтому здесь тоже активно цитируется Гомер.

В главах о стиле, о построении речи и делении ее на части (кн.3, гл.14 и 16) Аристотеля приводит примеры предисловий к гомеровским

песням; главы о метафорах (кн.3, глава 4, гл.11), энтимемах и примерах (кн.2, гл. 22) также полны цитатами из Гомера.

«Все ссылки Аристотеля на Гомера особенно важны тем, что они связаны с его рассуждениями не только о формальной стороне, но и о самом существовании ораторского искусства; сверх того, они обыкновенно относятся к самым ярким в драматическом и ораторском отношении отрывкам из «Илиады» и «Одиссеи», — отмечал М.М. Покровский [53, С. 448].

Марк Фабий Квинтилиан, говоря о произведениях и авторах, необходимых для образования ораторов, особо выделяет Гомера. «И как Арат полагает, что начать свою «Астрономию» надо с Юпитера, так и мы, кажется, справедливо поступим, если начнем с Гомера. Ибо он... есть глава и образец во всех родах красноречия. Никто его не превосходил в делах великих возвышенностью, в малых точностью выражений. Слог его и красив и краток, увлекателен и весок, удивителен то обилием, то краткостью выражения. Гомер в высочайшей степени обладал совершенствами не только поэта, но и оратора. Я не говорю о тех местах, где он хвалит, убеждает, утешает; стоит прочесть только девятую песнь, в которой описывается посольство к Ахиллесу, или первую, в которой спорят между собой военачальники, или вторую, где суждения, переговоры и советы главных вождей носят печать неподражаемого искусства. Кто не уверится, что этот великий поэт владел тайной возбуждать добрые и сильные чувства? И не находим ли, что его очень немногие вступительные стихи, разве они — не говорю уже не соблюли, но не установили ли они разве закона для предисловий? Ибо он делает слушателя благосклонным к себе, воззвав к богиням, почитавшимся покровительницами певцов, и восприимчивым путем краткого обзора основного содержания. ... Уподобления, амплификации, примеры, отступления, признаки и аргументы и прочие элементы доказательства и опровержения столь многочисленны, что **большая часть авторов трактатов по риторике берет образцы всего этого у нашего поэта** (выделено нами — авт.)... И наконец, какое заключение речи может сравниться с просьбой Приама, когда он умоляет отдать Ахиллеса тело его сына? Что сказать о выражениях, словах, мыслях, фигурах, расположении всего произведения? ... Все, кажется, превышает меру человеческого разума. Гомер, без сомнения, всех и во всех родах красноречия далеко оставил за собой...» [27, кн. 10, V].

Квинтилиан отмечает в поэмах Гомера и наличие трех ставших впоследствии традиционных видов красноречия. *Тонкое* красноречие, пригодное для повествования и приведения доказательств не нуждается в особенном украшении речи. *Средний* род красноречия богат средствами выразительности и предназначен для услаждения слушателей. И, наконец, *сильным* красноречием по выражению Квинтилиана «оратор вызывает и мертвых из гробов». Красноречие первого рода он «влагает в уста Менелаю с приятной краткостью, с чистотой выражений и чуждое всякого излишества». Речь Нестора, по его словам, была «приятностью своей выше всякого подражания; но дойдя до высшего красноречия — у Одиссея, он (Гомер — авт.) прибавил к нему величие; ему он приписал речь, равняющуюся обилием слов стремительным потокам от таяния снегов разливающимися» [27, кн. 12, IV].

«Я не сомневаюсь, — говорит Цицерон в диалоге «Брут», — что ораторская речь всегда имела большую силу. Ведь уже в троянские времена не приписывал бы Гомер такой славы красноречия Одиссею и Нестору, из которых одному он дал силу, а другому приятность, если бы уже тогда не было в почете красноречие, да и сам этот поэт не был бы столь украшенным в речи и истинным оратором» [70, С. 148].

Помимо средства образования ораторов героические поэмы Гомера и явленные в них высочайшие образцы риторики были школой жизни гражданского античного общества: его герои были образцом для подражания десятков поколений военных и государственных деятелей древности, пафос их речей пронизывает всю историю Древнего мира.

«Та древняя наука, по-видимому, была учительницей и правильных поступков и умения хорошо говорить, и учителя не были отдельными, но одни и те же лица учили и жить, и говорить» [70, С. 211]. Эта мысль Цицерона, высказанная им в диалоге «Оратор» как нельзя лучше иллюстрирует влияние риторики на жизнь античного общества. Это влияние как мы увидим дальше не было односторонним, но представляло собой сложнейшее переплетение исторической действительности и различных видов словесности, не уяснив существа которого нельзя претендовать на понимание места и роли военной риторики в истории войн и военного искусства.

## Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЧЕЙ, ПРИВОДИМЫХ В ИСТОРИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЯХ ДРЕВНИХ АВТОРОВ

Перед тем как перейти к анализу содержания и истории развития военной риторики античности в первую очередь следует ответить на вопрос о том, насколько достоверны тексты речей военных и государственных деятелей, приводимых в сочинениях историков древности, насколько достоверны факты их произнесения и, наконец, насколько, так сказать, технические условия допускали саму возможность их произнесения.

Прежде всего следует сказать, что сам факт понимания древними значения ораторского искусства для военного дела не может вызывать сомнения. На этот счет мы встречаем прямое указание у видного римского государственного и военного деятеля I века Секста Юлия Фронтинна, который в своих «Стратегмах» четко указывает, говоря о путях достижения победы, что «блестящие результаты здесь давали также речи...» [23, С. 118]. Весьма авторитетный в военных вопросах Флавий Вегетий Ренат (кон. IV — нач. V вв.) в трактате «О военном искусстве» свидетельствует: «Благодаря убеждениям и поощрениям вождя у войска растут храбрость и мужество» [9, кн. III, 12]. Военно-теоретический труд византийского автора Псевдо-Маврикия «Стратегикон» (VI в.) также содержит вполне определенные указания на необходимость проведения предварительной подготовки войск к бою при помощи речей.

Тем не менее, не ответив на вопрос о достоверности текстов речей, приводимых в исторических сочинениях древних авторов, невозможно относиться к военной риторике как явлению исторической действительности, оказывавшему значительное влияние на ход событий и подлежащему изучению с целью практического использования в разработке системы речевого образования современных военнослужащих. В противном случае изучение военной риторики может относиться к предметной области истории литературы, представляющей интерес для ограниченного круга специалистов.

Взгляды почти всех современных исследователей, высказывавшихся по данному вопросу, колеблются от безоговорочного утверждения о вымышленности всех речей, встречающихся в произведениях античных

историков, до осторожного признания, что в ряде случаев имело место определенное «украшательство» историками все же реально произносившихся речей.

Речи в сочинениях почти всех античных историков образуют важный элемент повествования. Так в сохранившихся 35 книгах знаменитой «Истории Рима от основания Города» Тита Ливия приведено 407 речей, занимающих до 12% текста. [64, С. 162]. В предисловии к «Истории» Г.С. Кнабе делает вывод о том, что «речи в исторических сочинениях древних авторов не воспроизводили подлинный текст речей, реально произнесенных. Это явствует из признаний самих античных писателей; из сопоставления (там, где сохранилась такая возможность) текста речи, приводимого историком, с эпиграфическим памятником; из физической невозможности произнести в обстоятельствах, в которых подчас находятся персонажи, те длинные и сложные монологи, что приписывает им автор» [28, С. 428].

Речи, таким образом, относятся к художественно-образной сфере творчества древнего историка. «Все речи в «Истории» Ливия вымышлены», — безоговорочно утверждает и Т.А. Миллер [34, С. 163]. Тем не менее, далее в указанной монографии читаем: «Речам, взятым у анналистов или у Полибия, Ливий придавал литературный аспект, **сообразно с излагаемыми обстоятельствами...** (выделено нами — авт.) Художественно обработанные Ливием речи... несомненно облегчали восприятие их и производили на читателя большее впечатление, чем сухие рассказы его предшественников, анналистов, на идентичную тему» [34, С. 174-175]. Таким образом, сам факт произнесения речей уже не только не отвергается, но и фактически признается.

Один из наиболее заслуживающих доверия греческих историков Фукидид («Фукидид достиг высокого совершенства в области установления исторических фактов» [38, С. 621]) честно признается, говоря об описанных им событиях Пелопоннесской войны: «Что касается речей, произнесенных отдельными лицами или в пору приготовления к войне или во время уже самой войны, то для меня трудно было запомнить все сказанное в этих речах со всей точностью, — как то, что **я слышал сам, так и то, что передавали мне с разных сторон другие.** Речи составлены у меня так, как, по моему мнению, каждый оратор, сообразуясь всегда с обстоятельствами данного момента, скорее всего, мог говорить о настоящем положении дел, причем **я держался возможно ближе общего смысла действительно сказанного** (выделено нами

— авт.)» [66, С. 48]. Это замечание несколько, на наш взгляд, не умаляет исторической достоверности приводимых Фукидидом речей, так как он (редкий случай среди историков) являлся непосредственным участником описываемых событий, занимая, к тому же, высокий государственный пост, но скорее свидетельствует о его научной щепетильности. Эти речи, составленные по всем правилам античной риторики, убедительно свидетельствуют также о том, какое значение государственный человек той эпохи придавал речи как инструменту осуществления своей, как мы бы сказали, профессиональной деятельности.

В ряде случаев государственные и военные деятели античности имели обыкновение записывать тексты своих речей. Так, например, походы Александра Македонского тщательно документировались его походной канцелярией, деятельность которой еще его отец Филипп довел до совершенства. Достаточно сказать, что «входящие документы» от царя секретарями регистрировались с указанием часа поступления. Эти материалы и личные письма царя, судя по всему, были использованы Агриппой в его труде. Цезарь сам оставил после себя обширные записки о покорении Галлии и о гражданской войне в Риме.

Из того, что большая часть текстов не дошла до наших дней нельзя делать вывода о том, что они не были известны и не имели хождения в современном им обществе. Риторическая обработка речи, если таковая и производилась историками, служила цели придания содержанию совершенной формы с тем, чтобы она осталась в веках не только как сыгравшее свою роль историческое событие, но и как произведение искусства, которое, как известно, бессмертно. «Чей голос, кроме голоса оратора, способен обессмертить историю?» — вопрошал Цицерон в диалоге «Об ораторе».

Несмотря на распространенность в древней античной историографии жанра анналов, т.е. сухого, протокольного, по годам фиксирования событий, большое значение историками придавалось обнаружению и передаче смысла событий и мотивации деятельности исторических персонажей. А для этого, с одной стороны, надо было заставить персонажей заговорить, следуя известному принципу Сократа: «Заговори, чтобы я тебя увидел». Вот откуда такое обилие речей в сочинениях античных историков. Связь между риторически обработанной речью и воссоздаваемым образом ее автора устанавливается непосредственно. Об этой связи Квинтилиан говорил: «Просто невозможно выразить, до какой степени речь каждого соответствует у Ливия и обстоятельствам, и образу человека» [27, кн. 10, I].

С другой стороны, воспитанные на риторическом каноне Демокрита — Аристотеля (хорошо мыслить, хорошо говорить, хорошо исполнять свой долг), древние историки высоко ставили ответственность писателя перед грядущими поколениями сограждан. Их произведения были призваны не только информировать читателей, но и формировать их гражданскую позицию, учить патриотизму и нравственности.

И в этом великие историки античности следовали Гомеру, ибо его эпические поэмы — не что иное, как цепь художественно переосмысленных исторических событий. Вообще военная риторика и история связаны неразрывно по самому своему существу, ибо еще Аристотелем исторический пример выведен в качестве одного из риторических средств убеждения, а Квинтилиан одну из глав своего труда посвятил объяснению, почему оратор обязательно должен знать историю. Цицерон же называл историю «произведением в высшей степени ораторским».

При этом нельзя сказать, что даже эпическая поэзия, эпос, сказка абсолютно неисторичны, и события, описываемые ими, лежат целиком в области художественного вымысла. Более того, эти жанры художественного творчества находят отражение и в летописи, так переплетаясь с изложением исторических событий, что бывает трудно определить, что из них первично: описание события или обогащающая его восприятие народным сознанием эпическая языковая форма выражения. «Историография имеет очень много точек соприкосновения с эпической поэзией той эпохи. Больше того, древняя историография, в особенности при изложении событий очень далекого прошлого, может, в какой-то степени, определяться как эпос в прозе», — считает В.С. Дуров, говоря о ранней римской историографии [19, С. 103].

В исследовании А.В. Махлаюка, посвященном традициям и ментальности римской армии, содержится очень верное наблюдение о том, что «античная риторика предстает как подход к обобщению действительности. С этой точки зрения, очень многое может дать использование малодостоверных или даже фиктивных источников, ибо, каким бы ни было их отношение к факту, все они показывают, как люди прошлого воспринимали и мыслили порядок вещей...» [42].

Свидетельством того, насколько точно бывают представлены в героическом эпосе обстоятельства исторических событий может служить анализ русских былин об Илье Муромце, по сути своей являющихся отражением в народном сознании многовековой борьбы Руси со Степью, начиная от хазар и печенегов и заканчивая монголо-татарами.

Былина так, например, передает впечатление от появления татарской орды царя Калина под Киевом:

Как от покрику от человеческого,  
Как от ржання лошадиного  
Унывает сердце человеческо.

[54, С. 309]

Или еще более определенно и образно:

А от пару было от конного  
А и месяц-солнце померкнуло,  
Не видать луча свету белого,  
А от духу татарского  
Не можно нам крещеным живу быти.

[54, С. 309]

Почти такими же словами описывается приближение монголо-татар к Киеву в Галицко-Волынской летописи: «Был Батый у города, а воины его окружали город. И нельзя было голоса слышать от скрипения телег его, от рева множества верблюдов его и ржания стад коней его [49, ГВЛ, С. 295]. Очевидно, что летописец воспользовался былинным образным описанием подступающего под стены вражеского войска, чтобы, не имея возможности точно определить его число, дать представление о его многочисленности. Былинный эпический «Да как полотном мать сыра земля от войска изгибается» (49, С. 308) и фольклорный сказочный «когда сила с силою сходились, мать сыра земля подгибалась» [7, С. 39] образы находят отражение и в другой летописной повести: «... основание земное содрогнулось от великой силы» [50, С. 124]

Литературные древнерусские произведения еще ближе по сюжету и содержанию к летописным источникам, как например «Сказание о Мамаевом побоище» близко к пространной летописной повести о Куликовской битве. Большинство исследователей это объясняет зависимостью «Сказания...» от летописной повести. Однако, как отмечает Д.С. Лихачев, вопрос этот далеко не бесспорен: «...оба произведения посвящены одному событию, авторы их пользовались одними и теми же устными рассказами и преданиями о Куликовской победе и близость содержания обоих произведений может объясняться именно этим обстоятельством. Текстуальные же совпадения между пространной летописной повестью и «Сказанием...» столь малочисленны и имеют такой характер, что **у нас отнюдь не меньше оснований предполагать обратную зависимость...** (выделено нами — авт.)» [50, С. 553]. Есть в «Сказании...» и

реминисценции к знаменитой эпической героической поэме «Слово о полку Игореве». Описание ночи перед Куликовской битвой: «...множество волков стеклоь на место то, завывая страшно, беспрерывно все ночи, предчувствуя грозу великую, ... и галки своим языком говорят, и орлы, ...по воздуху паря, клекочут, и многие звери свирепо воют, ожидая того дня грозного, когда должны будут лечь тела человеческие...» [50, С.163] является практически калькой с аналогичного эпизода «Слова»: «уже гибели его ожидают птицы по дубравам, волки грозу завывают по яругам, орлы клекотом зверей на кости зовут, лисицы брешут на червленые щиты» [48, С. 375].

Другое лирико-эпическое произведение о Куликовской битве «Задонщина» также активно использует и образы, и отдельные фразы, и **целые отрывки** из «Слова», представляя собой некую стилизацию этого более раннего литературного произведения.

Даже сказка порой представляет собой достаточно точное переложение исторических событий. Народная русская сказка «Про Мамаю безбожного», описывая основные события Куликовской битвы, упоминает и о поединке русского воина с татарским богатырем перед началом сражения, и о тяжело складывающейся для русских обстановке «втепор сила Мамаю безбожного, пса смердящего нашу силу побивать стала», и о внезапном ударе «из-за темных лесов, зеленых дубрав» засадного полка, решившего исход битвы. Как в повести, так и в сказке великий князь уходит сражаться с татарами в передовой полк простым воином. Находит отражение и художественно переосмысленный факт обмена конями и доспехами перед сражением князя Дмитрия Ивановича с боярином Михаилом Андреевичем Бренком, только в сказке великий князь меняется с незнакомым воином конем, который в битве спасает ему жизнь. Так переосмысливается народным сознанием факт жертвенной гибели за князя боярина Бренка, который «под тем знаменем и убит был вместо великого князя». Удивительно, но в сказке великого князя Дмитрия, считавшегося погибшим, после боя находят спящим под «кудрявою березой», что соответствует и эпизоду летописной повести, свидетельствующей, что «лежал он в тени срубленного дерева березового».

Весьма показательное частое смешение в летописной повести и «Сказании...» монголо-татар с половцами («начали же поганые половцы в великом унынии сокрушаться о конце своей жизни») и с печенегам («выехал злой печенег из большого войска татарского, перед всеми до-

блестью похваляясь»), представляющее некое подобие «фрейдовских оговорок» авторов. Эти оговорки являются отражением в народном сознании на примере конкретной битвы эпического характера противостояния Руси со Степью.

Такое тесное переплетение эпоса, литературы и истории не случайно. Эпос, фольклор питают и определяют сознание народа на уровне архетипа и впоследствии воспроизводятся в литературе и исторических сочинениях. «Песни хранят явственные следы пройденных эпох, иногда настолько ясные и конкретные, что они могут иметь силу исторического свидетельства» [54, С. 25]. Безусловно, неверно будет, как убедительно показал В.Я. Пропп, искать точного совпадения эпических и фольклорных имен и событий в исторических произведениях. Но общее впечатление, оценку и порой неожиданные особенности восприятия народным сознанием наиболее значимых явлений исторической действительности эпос и фольклор отражают.

Таким образом, можно утверждать, что по эти существу **архетипические сюжеты, персонажи и образы с необходимостью могут и должны проявляться в практической речевой деятельности** вполне реальных исторических персонажей.

Возвращаясь к античности, попробуем проследить некоторые моменты влияния героических эпических поэм Гомера на греческую литературу, а вслед за этим и на военную риторику Эллады.

Прежде всего, в песнях древнейшего греческого поэта Тиртея (VII в. до н.э.) мы находим многочисленные следы влияния Гомера. Происходивший из Лаконии Тиртей своей лирикой был обязан вести спартанцев, этих прирожденных воинов, к победе, создавать песни, в которых бы прославлялось бодрость, мужество и решимость идущих сражаться за отечество. В его стихотворных призывах к бойцам, идущим на смерть, можно найти множество мыслей и образов, совершенно очевидно навеянных героическим эпосом «Илиады».

Воины те, что дерзают, смыкаясь плотно рядами,  
В бой рукопашный вступить между передних бойцов,  
В меньшем числе погибают, а сзади стоящих спасают;  
Труса презренного честь гибнет мгновенно навек.

[3, С. 130]

Эти строки явно перекликаются с уже цитировавшимися выше строками Гомера.

Будьте мужами, друзья, и возвысьтесь бестрепетным духом!  
 В схватках сражаясь могучих, стыдитесь друг перед другом.  
 Воинов, знающих стыд, спасается больше, чем гибнет,  
 А беглецы не находят ни славы себе, ни спасенья!

[Илиада, 5, 529]

Другие строки Тиртея и Гомера, кажется, могут служить пособием по тактической подготовке греческих гоплитов. Так у Тиртея поразительно точно описываются правила построения фаланги.

Пусть он идет в рукопашную схватку и длинную пикой  
 Или тяжелым мечом насмерть врага поразит!  
 Ногу приставив к ноге и щит свой о щит опирая,  
 Грозный султан — о султан, шлем — о товарища шлем,  
 Плотно сомкнувшись грудь с грудью, пусть каждый  
 дерется с врагами,  
 Стиснув рукою копьё или меча рукоять!

[3, С. 130]

Почти такими же словами описывает Гомер построение ахейских ратей.

Пика близ пики, щит у щита, заходя под соседний.  
 Шлем тут со шлемом, и щит со щитом, человек с человеком  
 Близко смыкались; вперед наклонившись, боец прикасался  
 Шлемом к переднему шлему, — так тесно стояли ахейцы.  
 В смелых колеблясь руках, слоями тянулись копьё.

[Илиада, 13, 130]

Стихотворения Тиртея пользовались в Спарте большим почетом. Спартанцы постановили исполнять их во время общих обедов, после молитвы богам. Его стихи пелись войсками перед сражениями как пэан (боевой гимн) или эмбатерии (маршевые песни). Уже древние (Ликург, Гораций) упоминали «о том влиянии, какое Тиртей и Гомер имели **на развитие храбрости у людей** (выделено нами. — авт.)» [24, С. 195].

В этой связи стоит отметить бросающееся в глаза своеобразное «смакование» анатомических подробностей ранений и убийств в «Илиаде», отмечавшееся И.В. Шталь [71, С. 63]. Действительно, значительная часть текста поэмы посвящена предельно натуралистическому описанию поединков и неизбежно связанных с ними ран и увечий.

Причем в этих описаниях характерные для эпических произведений повторы относятся только к относительно малозначащим результатам боя: «покатился, хватаясь руками за землю», «с шумом на землю упал он», «доспехи на нем зазвенели». Само же описание ран всегда неповторимо и служит не иллюстрацией медицинских особенностей увечий для их последующего уврачевания, как полагает И.В. Шталь, ибо когда «хрястнула кость под мечом, и упали / Оба кровавые глаза Писандра у ног его наземь» [Илиада, 13, 616] говорить о лечении, наверное, поздно, но, прежде всего, для приучения бойцов к зрелищу, вкусу и запаху смерти.

Это заставляет предположить, что помимо многократно отмеченных десятками авторов литературных достоинств, «Илиада» выполняла в свое время и сугубо практическую роль пособия по морально-психологическому обеспечению воспитания поколений молодых воинов. Древние относились к жизни и смерти одинаково серьезно и не могли допустить рефлексии новобранца, неуместной в сомкнутом строю фаланги, где каждый отвечал не только за свою жизнь, но и за жизнь прикрываемого щитом товарища. Полевая хирургия, конечно, тоже не была забыта, стоит упомянуть, например, о способах врачевания колотых ран [Илиада, 11, 844-648] и о рецепте приготовления освежающего и укрепляющего силы напитка [Илиада, 11, 639-642].

Другим чрезвычайно ценным литературно-историческим источником, подтверждающим влияние военной риторики Гомера на античную речевую традицию нам представляется «Киропедия» писателя и историка Ксенофонта (не позже 444 до н. э. — не ранее 356 до н. э.). Ксенофонт — ученик знаменитого Сократа, выбравший карьеру государственного и военного деятеля. Его риторическая подготовка заметна в написанной в жанре исторического романа «Киропедии» более, нежели в других его сочинениях. Персонажи романа произносят речи по всем законам ораторского искусства.



*Рис. 2. Ахилл перевязывает раненого Патрокла*

В романе, готовясь к сражению с войсками персидского царевича Кира, ассирийский царь объезжает войска и произносит перед ними традиционную убеждающую речь.

«Ассирийские воины, теперь вы должны доказать свое мужество. Вы будете сражаться за свою жизнь, за землю, на которой вы выросли, за родные дома, за своих жен и детей — за все, что вам более всего дорого. Одержав победу, вы останетесь, как и прежде, обладателями всего этого, но если вы потерпите поражение, то знайте, что все это достанется врагам. Поэтому жажда победы должна пылать в ваших сердцах. Будет безумием, если тот, кто сражается за победу, обратится в бегство, открывая врагам спину — часть тела, лишенную рук и оружия. Безумным будет и тот, кто, желая сохранить свою жизнь, побежит с поля боя; знайте, что в живых останутся только победители, что беглецы гибнут гораздо чаще тех, кто стойко сражается. Окажется безумцем и тот, кто, стремясь владеть богатством, допустит, чтобы над ним одержали победу. Кому не известно, что победители сохраняют и свое имущество и захватывают достояние побежденных, побежденные же теряют и свое имущество и собственную свободу?» [33, С.77].

Реминисценции из Гомера в этой речи вполне очевидны. Так Нестор старец Геренский перед схваткой с троянцами у кораблей:

Всех умолял, именами родителей их заклиная:

«Будьте мужами, друзья, и стыд себе в сердце вложите

Перед другими людьми! И вспомните каждый о детях

И о супругах своих, о вашем имуществе дома,

И о родителях, — как о живых, так равно и умерших!

С вами их нет здесь; но именем их я вас всех умоляю:

Не обращайтесь в бегство и стойте упорно на месте!»

[Илиада, 15, 660]

Любопытно, что Ксенофонт устами Кира как будто полемизирует, как это следует из романа, с риторической воинской традицией. В ответ на настойчивые советы приближенных обратиться к войскам с ободряющими словами, чтобы «укрепить в них воинский дух», Кир подчеркнуто небрежно отговаривается, что никакие красивые слова не заставят человека предпочесть смерть в бою жизни, добытой бегством. Он говорит далее «что же касается людей вовсе не усвоивших воинских добродетелей, то... я был бы весьма удивлен, если бы произнесенная перед ними прекрасная речь пробудила бы в них мужество в большей степени, чем

прекрасно пропетая песнь научила бы мусическому искусству людей, никогда до этого не обучавшихся музыке» [33, С. 79].

Кажется, что этот пассаж опытного полководца напрочь перечеркивает все практическое значение военной риторики. Однако нельзя забывать, что Ксенофонт сделал карьеру, командуя исключительно наемниками на службе персидского царя, для которых *патриотический* пафос защиты родины, естественно, не более чем пустой звук. Пафос наемника, полагающегося только на свою силу, удачливость и судьбу, очень точно выразил великий греческий поэт Архилох (VII в. до н.э.):

В остром копье у меня замешан мой хлеб. И в копье же  
Из-под Исмара вино. Пью, опершись на копье!

[3, С. 129]

Очевидно, что одними словами битвы не выигрываются, и сам Ксенофонт подтверждает это, относя свои слова к людям «вовсе не усвоивших воинских добродетелей», то есть не прошедшим воинского обучения и воспитания. Тем не менее, даже эти люди все же оказывают в романе войскам Кира сопротивление, а не разбегаются, не доходя до боя.

К тому же Ксенофонт несколько лукавит. Кир у Ксенофонта потому с таким уничтожением говорит о речах ассирийского царя перед боем, что сам накануне уже произнес хорошую речь перед своими воинами. Естественно предложение «дергать» людей, суетиться перед самым боевым столкновением не встречает у него энтузиазма. Классическая вдохновляющая речь произносится им и после сражения, когда нужно поблагодарить войска, показать, что их труды и жертвы не были напрасны, поднять в них дух на новые подвиги.

Несмотря на то, что Ксенофонт предельно вольно обращался с историческим материалом, его «Киропедия» была настольной книгой любого стратега древности. Не случайно

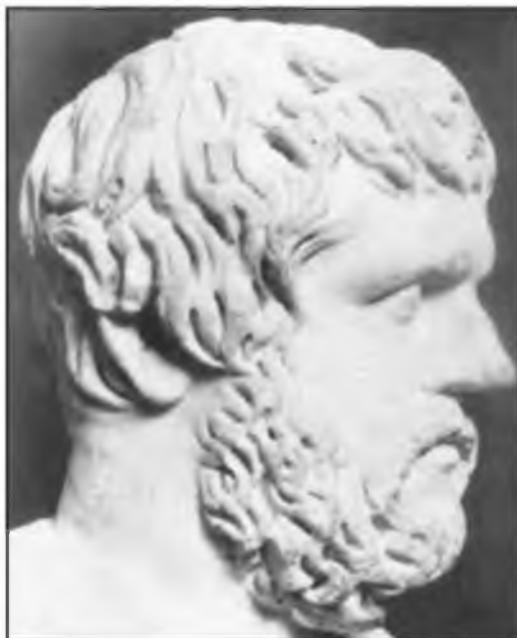


Рис. 3. Ксенофонт

в знаменитой монографии «Греция и Рим» П. Конолли описывает вступление в бой спартанской (а если смотреть шире — греческой фаланги) практически словами Ксенофонта. «Киропедия» является настоящей энциклопедией военного дела, изложенной в очень характерной для сочинений античности от Платона до Цицерона форме риторического (сократического) диалога. «...Ксенофонт как исторический писатель имеет целый ряд достоинств. Это — прекрасный знаток военного дела, ... к тому же стоявший в близких личных отношениях с вершителями судеб тогдашней Греции», — отмечал С.Я. Лурье [38, С. 639].

Таким образом то, что военная риторика античности, берущая начало в героических поэмах Гомера, находила отражение в произведениях древнегреческой литературы и реализовывалась в текстах речей военных и государственных деятелей не может вызывать сомнения.

Остается выяснить насколько условия, в которых произносились речи, позволяли воинам слышать и понимать сказанное полководцами. Очень часто скептиками здесь приводится довод, что значительная протяженность по фронту линии боевого построения не могла допускать обращения военачальника ко всей армии; что расслышать его в гуле сражения могли только непосредственно окружавшие его бойцы, как правило, воины личной охраны. В этом случае, естественно, ценность даже реально произнесенной речи, фактически, будет равняться нулю, и она не окажет никакого влияния на исход сражения.

При рассмотрении этого вопроса надо иметь в виду, что греческие армии вплоть до периода Греко-персидских войн, даже до походов Александра Македонского не были особенно многочисленными и, как правило, не превышали 8-10 тыс. человек. Притом тактика боя предусматривала действия в очень плотных боевых порядках. Из цитированных выше стихов «Илиады» видно, что воины в строю фаланги стояли практически плечом к плечу: «пика близ пики, щит у щита, заходя под соседний». Если учесть, что диаметр щита греческого гоплита составлял от 80 до 100 см., получается, что воин в строю занимал приблизительно около 80 см. по фронту. Следовательно, спартанская армия времен Ксенофонта (V–IV вв. до н.э.), состоящая из 6 мор по 576 человек при стандартном построении в 12 шеренг занимала по фронту расстояние всего порядка 230 метров. При Гавгамелах девятитысячная македонская фаланга глубиной в 16 шеренг растягивалась уже примерно на полкилометра. Манипулярный строй римского легиона времен республики из 27 шеренг занимал по фронту расстояние приблизи-

тельно в 180-200 метров по фронту и от 50 до 80 метров в глубину. Легион имперского периода, имея в первой линии 4 когорты и по 3 когорты в двух других, мог располагаться на площади примерно 350 на 60 метров. Как же мог полководец, обращаясь к армии, столь значительно растянутой на местности, рассчитывать, что его услышат?

Во-первых, с этой целью мог предприниматься объезд или обход военачальником линии расположения войск с обращениями с речами к каждой части войска или даже к подразделениям и отдельным людям.

Коней оставил Атрид с колесницей, пестреющей медью.  
Яро храпящих, держал в стороне их возница Атрида,  
Евримедонт, Птолемею рожденный, Пиреевым сыном  
Близко держаться ему приказал Агамемнон на случай,  
Если, давая приказы, усталость почует он в членах.  
Сам же пешком обходил построения ратей ахейских.

[Илиада, 4, 226]

О том, что этот прием был общеупотребительным, говорит очень показательный эпизод Пелопоннесской войны в изложении Фукидида. В сражении при Делии (на 8-м году войны) к нему прибегают предводители афинского войска Гиппократ и беотийского — Пагонд. «С таким ободрительным увещанием Гиппократ обошел только половину войска. Он не успел пройти дальше, как беотяне, которых торопливо ободрял в то же время Пагонд, запели пеан и ударили на неприятеля с холма» [66, кн. 4, С. 231].

Этот же Пагонд накануне сражения, чтобы произнести речь перед своими воинами даже шел на риск нарушения целостности строя: **«вызывал лох за лохом, чтобы не все воины разом оставляли свои посты, и... речью старался убедить беотян** (выделено нами — авт.) сделать нападение на афинян и сразиться с ними» [66, кн. 4, С. 229].

Александр Македонский по свидетельству Квинта Курция Руфа перед сражением при Иссе «объезжая ряды,... обращался к воинам с разными речами, соответственно чувствам каждого» [25, С. 127].

Цезарь в «Записках о галльской войне» пишет о том, что римский легат Л. Котта «был ранен пращей прямо в лицо во время обхода и ободрения когорт и рядов» [59, V, 35]. Естественно, трудно ожидать, что «ободрения» под обстрелом противника представляли собой классические, подробно риторически разработанные речи. Вполне возможно, что они сводились к набору лозунгов, грубоватых солдатских шуток, призванных хоть ненадолго отвлечь внимание воинов от грозящей опасности.

Сам Цезарь в сражении с помпеянами при Фарсале (48 г. до н.э.) «неутомимо повсюду обегая войско, увещевал еще понатужиться, пока не возьмут лагерь Помпея». Аппиан свидетельствует о несомненной пользе этих увещаний: «...многие из войска Цезаря были утомлены, но дух их поддерживали эти рассуждения» [4, 11, 79]. Подобные примеры из произведений античных авторов можно умножать до бесконечности.

Во-вторых, не было особенной надобности, чтобы непременно все воины слышали полководца, поскольку дело обыкновенно решали воины первых шеренг, которые принимали на себя первый удар неприятеля. Лучший воин в каждом ряду и полуряду был его командиром, а второй после него — урагом (заместителем). Все командиры рядов у спартанцев, например, стояли в первой шеренге. Ураг, как правило, замыкал ряд, наблюдая за дисциплиной с тыла. Основная же масса воинов играли в сражении достаточно пассивную роль, создавая своими телами давление на первые шеренги. Эти особенности «распределения ролей» при построении греческой фаланги отмечают и Гомером:

Храбростью веprü подобный, в передних рядах он держался.  
Вождь же другой, Мерион, назадн возбуждал ополченья.

[Илиада, 4, 253]

Таким образом, задача полководца существенно упрощалась. Надо было стремиться воздействовать речью в первую очередь на младших командиров, которые, к тому же, были обязаны передавать распоряжения военачальника своим подчиненным. В сражении при Гавгамелах Александр так и поступает: объезжает **«командиров и близстоящих воинов»** (выделено нами — авт.) и говорит с ними.

Кроме того, на войне дело решают порой не многотысячные толпы, но небольшие отборные подразделения, которые идут сражаться с желанием победить, когда своевременный удар даже небольшой части войска может принести победу. Фукидид приводит случаи обращения с речами лучшего спартанского полководца Пелопоннесской войны Брасида к отрядам из 300 и даже 150 воинов.

Наконец, история знает случаи обращения полководцев в критических обстоятельствах даже к разрозненным, потерявшим строй группам воинов. Так афинский стратег Никий после поражения при Сиракузах (19-й год Пелопоннесской войны) **«переходя от одной группы к**

**другой, ... говорил громче обыкновенного** (выделено нами — авт.) как из усердия, так и из желания, чтобы голос его слышался возможно дальше и действовал на войско» [66, С. 381].

В-третьих, речи не всегда произносились перед самым сражением, о чем упоминается выше у Ксенофонта. Так поступил и Никий в ночь перед началом печально закончившегося для афинян отступления из-под Сиракуз.

Речи могли произноситься в лагере, перед выступлением в поход. Для этой цели у римлян в каждом укрепленном лагере непременно строилось специальное возвышение, с которого к legionерам обращались с речами легат и военные трибуны. По их должности это сооружение получило название «трибунала». Для доведения приказов командование легиона собирало «солдатские сходки». В «Стратегиконе» Псевдо-Маврикия, описывающего византийскую воинскую практику VI века, в главе VI шестой книги предписывается воодушевлять войска речью в свободное время, не собирая для этого всех воинов, а обращаясь к отдельным подразделениям.

В-четвертых, нельзя исключать и применения специальных средств усиления голоса, и особых людей, предназначенных для передачи речи полководца. Упоминание об использовании глашатаев для сбора и наведения порядка и тишины перед выступлением вождей встречается у Гомера.

Бурно кипело собрание. Земля под садившимся людом  
Тяжко стонала. Стоял несмолкающий шум. Надрывались  
Девять глашатаев криком неистовым, всех убеждая  
Шум прекратить и послушать царей, воскормлённых Зевесом.  
Только с трудом, наконец, по местам все народы уселись  
И перестали кричать.

[Илиада, 1, 95]

Аппиан, описывая сражение при Фарсале, приводит многочисленные свидетельства использования Цезарем и Помпеем глашатаев, служивших для передачи приказаний полководцев войскам. У Псевдо-Маврикия глава XVIII второй книги так и называется «О глашатаях» и содержит указания о том, что «должность глашатаев, которые до сражения **держат речь, готовят воинов** (выделено нами — авт.) и напоминают о том, что может случиться, нам кажется полезной» [20, т. 1, С. 306)]. Это, правда единственное, упоминание о наличии в византийском войске целой с л у ж б ы, предназначенной, в современных терминах для морально-психологического обеспечения боя.

Для наведения порядка и создания тишины на солдатских сходках в условиях жесткой римской воинской дисциплины, очевидно, использовалась практически неограниченная власть и палки центурионов.

\* \* \*

Подводя итог нашего рассуждения, следует признать, что, говоря о зарождении и развитии военной риторики, нельзя пренебрегать важностью или недооценивать достоверность свидетельств самых разных источников духовной культуры Древнего мира.

Подобно тому, как серьезно и точно изображали греческие скульпторы человеческое тело, скрупулезно воспроизводили греческие художники на красно- и чернофигурной керамике элементы античного доспеха, вплоть до правил его одевания, так и народные сказители (аэды), поэты и историки в своих произведениях добросовестно старались передать дух своего времени, идеалы и устремления народа.

«Как ни важны для современного историка Греции вещественные памятники и надписи, все главным источником для него являются памятники литературные», — считал В.П. Бузескул [8, С. 77]. Мало того, об отдельных периодах античной истории мы можем судить по большей части из содержания ораторских речей. Так, например, по речам Демосфена, которого В.П. Бузескул почитал как «главнейший источник для истории Филиппа Македонского» мы можем проследить весь ход борьбы афинян с македонской агрессией. Памятники материальной культуры давно признаны историками и являются основным источником наших знаний об истории войн, тактике ведения боя, снаряжении и вооружении древних воинов. Только принадлежность к эпосу, фольклору, литературе до сих пор выступает в качестве своеобразного клейма на богатейшем наследии произведений духовной культуры Древнего мира, автоматически порождая сомнения в их надежности как исторических свидетельств.

Налицо определенный парадокс: сцена поединка Ахилла с Гектором на вазе рассматривается как вполне исторически достоверное изображение античного доспеха и приемов ведения боя, но описание того же боя в «Илиаде» — всего лишь «литература», как «литература» и те страстные речи, которыми герои обменивались в пылу боя, которыми поднимали воинов на битву. Естественно, нет необходимости доискиваться жили ли на самом деле Менелай, Одиссей, Нестор, Парис, Приам и другие эпические герои, хотя в текстах табличек микенской куль-

туры и документах из архивов хеттских царей [12, С. 9] упоминаются подобные имена. Но факт осады Трои после раскопок Шлимана ни у кого не вызывает сомнения, как не может вызывать сомнения и историческая канва жизни и подвигов героев Троянской войны, являющихся переложением реального исторического полотна современной Гомеру греческой жизни. Снова обратимся к свидетельству В.П. Бузескула: «Помощью литературных источников можно воскресить мировоззрение, каким руководились люди, жившие несколько столетий назад. Не говорю уже о фактических сведениях, содержащихся в литературных произведениях, особенно исторических» [8, С. 78].

Наконец, начальник личной канцелярии А.В. Суворова в Итальянском походе Е.Б. Фукс, первый русский писатель, коснувшийся темы военного красноречия полагал: «Историки тогдашние не вымышляли ничего в существе события, если и украшали какое либо выражение мысли цветами своего слога. Они показывали меч богатыря, но без ржавчины. Запретить сие значит запретить писать историю» [67, С. 4].

Таким образом, нельзя отказываться от серьезного рассмотрения и признания исторической и, в значительной мере, военно-педагогической ценности текстов речей вполне реальных военных и государственных деятелей Древнего мира, приводимых в сочинениях историков.

# Глава 3. ВОЕННАЯ РИТОРИКА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

## 3.1. Военная риторика периода Греко-персидских войн

Первые сведения о военной риторике Эллады мы, естественно, находим в труде «отца истории» Геродота (484 — 425 гг. до н.э.), посвященном Греко-персидским войнам (499 — 449 гг. до н.э.). Несмотря на порой очевидную фантастичность его сведений, отмечавшуюся многими историками, они имеют по отношению хотя бы к истории Диодора Сицилийского (90 — 30-е гг. до н.э.) то неоспоримое преимущество, что их не отделяет от описываемых событий почти 400 лет. Если и принимать во внимание, что в отличие от Геродота Диодор пользовался некими письменными (а следовательно и более достоверными) источниками, то ценность их можно поставить под определенное сомнение, вспомнив по аналогии, на основании скольких источников мы можем теперь судить о событиях Смутного времени российской истории, которые отделяют от нас те же 400 лет, что и время Диодора от времени вторжения персов в Элладу. История Диодора, как можно сделать вывод из анализа русского историка М.И. Мандеса, во многом представляет собой риторическую обработку геродотового труда: «Как бы мы ни смотрели на состав диодоровского рассказа, но что он в той или иной степени... зависит от Геродота, в этом нельзя сомневаться». Также и в другом месте исследователь замечает, что «едва ли нужно доказывать, что совершенно неправ Welzhofer (Вельцхофер. — авт.), полагая, что Диодор в своем изложении точней Геродота» [40, С. 17].

Прежде всего следует сказать, что в сознании Геродота и современных ему афинян война против персов не воспринималась чем-то из ряда вон выходящим. Скорее всего, Греко-персидские войны приобрели свое истинное значение, заключающееся в судьбоносном противостоянии Востока и Запада, или деспотии и демократии только в ретроспективных взглядах позднейших историков. «История» Геродота, написанная примерно через 50 лет после указанных событий, практически никак не выделяет эти войны из ряда мелких вооруженных конфликтов как, например, между персами и ионийскими греками, так и между самими греческими полисами.

Описание Марафонского сражения (490 г. до н.э.) и рассказ о его главном герое афинском стратеге Мильтиаде предваряется весьма прозаическим упоминанием о том, что это тот самый Мильтиад, чей отец Кимон победил в Олимпии на состязании с четверкой коней три раза подряд [11, 6, 103]. Факт этот действительно исключительный (до Кимона подобным образом побеждал только еще один человек — спартаец Евагрий), но показательно, что нависшая над Грецией смертельная угроза не затмевает в изложении историка такого, на современный взгляд, несоизмеримого по важности события, как победа в спорте. Правда, другим возможным объяснением упоминания родства полководца с выдающимся олимпийщиком может быть и намек на то, что на сыне по наследству от отца почилла благодать олимпийских богов. Подобным образом некую «психологию мирного времени» мы наблюдаем и в ходе подготовки к сражению, когда собранием десяти стратегов решалось, давать ли битву или дожидаться спартанцев и отступить.

Речи стратегов, как и приведенная Геродотом речь Мильтиада к полемарху Каллимаху, по всей видимости, представляли собой классические убеждающие совещательные речи, подобные речам, многократно произносившимся в городском народном собрании.

«В твоих руках, Каллимах, сделать афинян рабами или же, освободив их, воздвигнуть себе памятник навеки, какого не воздвигали себе даже Гармодий и Аристокитон. Ведь с тех пор как существуют Афины, никогда еще им не грозила столь страшная опасность, как теперь. Если афиняне покорятся мидянам и снова попадут под власть Гиппия, то участь их решена. Если же наш город одолеет персов, то станет самым могущественным из эллинских городов. Как это возможно и почему именно решение в твоей власти, я сейчас тебе объясню. Мы — десять стратегов — разошлись во мнениях: одни советуют дать битву, а другие — нет. Если мы теперь же не решимся на битву, то я опасаюсь, что нахлынет великий раздор и так потрясет души афинян, что они подчинятся мидянам. Если же мы сразимся с врагом, прежде чем у кого-либо [из афинян] возникнет гнусный замысел [изменить], то мы одолеем, так как ведь существует же божественная справедливость. Все это теперь в твоей власти и зависит от тебя. Присоединись к моему совету, и твой родной город будет свободен и станет самым могущественным городом в Элладе. А если ты станешь на сторону противников битвы, тогда, конечно, мы погибем» [11, 6, 109].

Интересно, что в речи главной опасностью, которой, по словам Мильтиада, может грозить персидское завоевание афинянам считалось

восстановление тирании Писистратидов, а отнюдь не иноземное порабощение. Весьма симптоматично, что Мильтиад, желая убедить собеседника, обещает тому славу афинских «героев демократии», Гармония и Аристокитона, убивших тирана Гиппарха, брата упомянутого в речи Гиппия, который и привел персидское войско на марафонскую равнину, и принявших за это смерть, а совсем не кого-либо из выдающихся военных героев, недостатка в которых ни в греческой истории, ни в мифологии не было.

Таким образом, можно сделать вывод, что афинское войско при Марафоне отнюдь не горело желанием схватиться с врагом; сам Мильтиад говорит, что вступать в бой надо как можно скорее, не дожидаясь окончательного падения морального духа войска из-за вынужденного бездействия и страха перед персами (мидянами, как называет их Геродот). А о том, что афинские граждане (только в силу необходимости взявшие в руки оружие) этот страх испытывали, говорит Геродот: «Одно имя мидян приводило в страх эллинов» [11, 6, 112].

Афинским стратегам приходилось считаться и с политической оценкой их действий народным собранием, решения которого были чреватые весьма серьезными последствиями: от наложения крупного денежного штрафа до ostracism и смертной казни неудачливому полководцу. Сам Мильтиад, несмотря на то, что, благодаря поддержке вставшего на его сторону полемарха, советом стратегов было принято решение принять бой и вручить главное командование ему, ждал пока очередь командовать дойдет до него «естественным» образом. Такая перестраховка может быть объяснена исключительно страхом перед возможной ответственностью.

И его опасения имели под собой реальную почву! Когда через несколько лет после Марафона Мильтиад даже не потерпел поражение, а просто экспедиция против о. Пароса, задуманная и возглавлявшаяся им, не увенчалась полным успехом, победитель при Марафоне, страдая от гангрены, лежа на носилках, вынужден был давать объяснения народному собранию Афин. Мильтиаду повезло, его не казнили, видимо вспомнив прежние заслуги, но наложили штраф в 50 талантов (сумма по тем времена немалая), который выплачивал после смерти полководца его сын.

Если принять во внимание все вышесказанное, то приходится только удивляться, что эллины вообще смогли выиграть сражение. Геродот упоминает, что «битва при Марафоне длилась долго» [11, 6, 113], победа колебалась и не стала для греков решительной. Персы потеряли всего

7 кораблей. Этот факт, как и то, что они попытались сразу после этого совершить обходной маневр и захватить Афины говорит о том, что победители не смогли организовать преследование и помешать организованной погрузке потерпевшего поражение персидского войска на корабли.

Возникает вопрос, не попытался ли Мильтиад хотя бы перед решающим усилием поднять боевой дух афинян яркой вдохновляющей речью, чтобы они «не уstraшились мидийского одеяния и воинов одетых помидийски»? Геродот об этом не упоминает и, скорее всего, так оно и было. В его описании битвы, составленном на основе «устной традиции» [8, С. 37], приводится множество подробностей, доступных наблюдению только участников сражения, как например факт того, что некоему стратегу Кинегиру отрубили руку секирой, когда он ухватился за корму персидского корабля. Факт произнесения полководцем речи никак не мог бы пройти мимо сознания воинов и обязательно нашел бы свое отражение на страницах «Истории».

Объяснений этому может быть несколько. Во-первых, греческое войско (около 10-11 тыс. чел.) растянулось по фронту на расстояние около километра, а поскольку стратеги участвовали в бою пешими, то для того, чтобы только обойти строй потребовалось бы минимум 10-15 минут. По мнению Ганса Дельбрюка [14, С. 224] греки первыми подверглись нападению персов, а не сами стали инициаторами нападения, а в таких условиях времени терять было нельзя.

Во-вторых, наверно это был тот самый случай, когда, по мнению Ксенофонта «нет таких прекрасных слов, которые могли бы сделать храбрыми трусов, как только они эти слова услышат» [33, С. 78]. Для того, чтобы его плохо обученные воины (а «в момент, когда люди с оружием в руках вступают в бой... многие забывают и то, что давно усвоили» [33, С. 78]), испытывавшие несомненный страх перед доселе непобедимым противником, сохранили присутствие духа Мильтиад прибег к тактическому приему, оказавшемуся точно рассчитанным с психологической точки зрения. Он пустил фалангу навстречу персам быстрым шагом. Конечно, они не бежали, как почему-то полагает Дельбрюк, в полном вооружении те 8 стадий (ок. 1440 м.), что отделяли их от противника. Бегом, набрав силу и инерцию удара, фаланга преодолела только последние 50-100 м, чтобы быстрее выйти из-под обстрела лучников. Но даже марш быстрым шагом воинов, задыхавшихся в глухих коринфских шлемах от пыли, поднятой тысячами ног, озабоченных только тем, как бы не отстать, не потерять место в боевой линии сородичей, позволил

достичь главного — отвлек внимание бойцов от приближающегося вражеского строя.

В-третьих, и это тоже нельзя сбрасывать со счетов, афинские стратеги явно находились под гнетом возможных обвинений со стороны народного собрания в стремлении к тирании. Демократический строй в Афинах после изгнания Гиппия существовал менее 20 лет, и как любая молодая демократия с величайшим подозрением относился к популярности среди сограждан отдельных личностей, особенно военных вождей. В этой связи становится понятной «оттягивание» Мильтиадом вступление в единоличное командование до положенного ему по очереди срока. Этим может объясняться и нежелание произносить перед боем вдохновляющую речь, которую политические противники и просто недоброжелатели могли бы поставить ему в вину как стремление приобрести влияние на массу воинов и использовать это в дальнейшем для достижения единоличной власти. Плутарх свидетельствует: «народ в некоторых случаях с удовольствием использует опытных, сильных в красноречии и рассудительных людей, однако всегда с подозрением и страхом относится к их таланту, старается унижить их славу и гордость» [51, С. 169].

Переходя к рассмотрению знаменитой Фермопильской битвы (480 г. до н.э.), следует признать, что древние историки практически не оставили надежных свидетельств произнесения каких бы то ни было речей участниками этой исторической драмы. В какой-то степени это может быть объяснено тем, что главные действующие лица — спартанцы традиционно славилась своей краткостью и нелюбовью к пространным речам. Достаточно сказать, что надгробия павшим спартанцам помимо имени украшали всего два слова «На войне», которые считались лучшей эпитафией воину [25, С. 176].

К тому же после последнего боя в Фермопильском ущелье не спасся решительно никто. Этим обстоятельством, по всей видимости, и объясняются разночтения в изложении хода битвы у Геродота, который писал, что оставшиеся с Леонидом греки были окружены и расстреляны из луков днем на холме за оборонительной стеной, и у Диодора, полагавшего, что гибель спартанцев и Леонида произошла утром в персидском лагере, после ночной вылазки с целью уничтожения Ксеркса, не увенчавшейся успехом из-за бегства «царя царей». В этом случае истинно спартанский совет Леонида, своим воинам, проникнутый мрачным юмором «Пусть завтрак ваш будет обильным, о мужи, ибо уже обе-

дать мы будем в Аиде!», который приводит Диодор, лишен смысла, потому что времени на завтрак окруженным спартамцам, естественно, не оставалось. Правда, в одном Диодор согласен с Геродотом: спартанцы были уничтожены метательным оружием.

Расхождения историков не только в обстоятельствах событий, но и в авторстве знаменитых изречений, судя по всему, можно считать одним из первых случаев использования прецедентных текстов. Так, Геродот приписывает широко известную фразу, что если стрелы персов затмят солнце, то «мы будем сражаться в тени» спартанцу Диенеку, которого отмечает как храбрейшего в битве, а Плутарх приписывает ее царю Леониду. Приведенный Диодором гордый ответ Леонида на требования Ксеркса положить оружие с обещанием за это милостей и наград: «Что сделаются ли они царю союзниками, то с оружием полезнее будут, принужденными ли найдутся биться, то с оружием мужественнее вольность защищать станут» [17, т. 3, С. 13] является практически полной калькой с ответа греческого стратега Клеарха персидскому царю Киру, приведенном у Ксенофонта в «Анабасисе» [31, кн. II, 1, 20]. Причем сам же Диодор приводит эти слова и в месте, касающемся ответа Клеарха. Источник заимствования определить при этом практически невозможно. М.И. Мандес дипломатично полагал, что «такие изречения... охотно пристают то к одному, то к другому «хозяину». Диодор мог найти их в виде такого отдельного изречения, действительно приписанного Леониду..., встретив тот же ответ в другом месте, он был поражен совпадением и дал своему изумлению соответствующее выражение» [40, С. 22].

Как можно заметить особого ожесточения в греко-персидском противостоянии не наблюдалось примерно до сражения при Фермопилах. Персидское нашествие многими греками воспринималось и разыгрывалось как своеобразная политическая карта во внутригреческой борьбе за гегемонию среди полисов и союзов государств. Часть греков, например фиванцы, вообще поддержала персов. Однако после героической гибели отряда Леонида и особенно после взятия персами, разграбления



Рис. 4. Греческий воин и перс

и осквернения святилищ Афин война приобрела характер общегреческого сопротивления варварам, т.е. приобрела черты бескомпромиссного противостояния народов и культур. В соответствии с этим заметно оживилась государственно-политическая и военная риторика эллинов.

Посольству македонского царя Александра, прибывшему в Афины от персидского военачальника Мардония с предложением признать власть персидского царя в обмен на многие милости (подобно тому, как предлагалось это ранее Леониду) дается твердый ответ: «Нам и самим, правда, известно, что боевая сила царя во много раз превосходит нашу. Поэтому нас вовсе не приходится упрекать в неведении. Тем не менее, стремясь к свободе, мы будем ее защищать, пока это в наших силах. Не пытайся примирить нас с царем, так как мы не поддадимся твоим убеждениям. А теперь сообщи Мардонию ответ афинян: пока солнце будет ходить своим прежним путем, никогда мы не примиримся с Ксерксом. Мы выступили против него, полагаясь на помощь богов и героев, святилища и кумиры которых царь преступно предал пламени» [11, 8, 143].

Перед решающей Платейской битвой (479 г. до н.э.) греческими воинами, по утверждению Диодора, была принесена клятва: «Жизнь вольности предпочитать не буду. Предводителей, будут ли они живы или убиты, не оставляю; но и союзников в сражении побитых, сколько их не будет, предаю погребению. Получив в войне сей над варварами победу, никакого города, имевшего участие в сражении, разорять не стану. Никакого из сожженных и разоренных храмов восстанавливать не буду: но в памятный знак нечестия варваров их оставляю» [17, т. 3, С. 47].

Видимо не последнюю роль эта клятва сыграла в абсурдном, на первый взгляд, отказе спартанского военачальника Амомфарета подчиниться общему решению стратегов отступить на «более выгодные позиции» после того, как персы перехватили пути снабжения союзного греческого войска. Не будь этого отказа, неизвестно как сложилась бы для греков эта битва. Ведь даже «неустрасимые» спартанцы настолько трепетали неизвестного для них, непривычного (а значит и страшного) противника, что малодушно предлагали афинянам поменяться местами в строю, с тем, чтобы те встали против персов, как «привычных» для них (после Марафона) противников. И эта «чехарда» перед лицом противника повторилась, когда, заметив передислокацию греков, Мардоний переместил и персов так, что они опять оказались напротив спартанцев! Видимо не без основания персы были невысокого мнения и боевых качествах греков и «обзывали их бабами». Наконец, гордые спартанцы трусливо промолча-

ли в ответ на прямой вызов Мардония решить участь битвы сражением между персами и лакедемонянами, чем несомненно разожгли воинский пыл врагов: «Мардоний же весьма обрадовался и, кичась уже воображаемой победой, двинул на эллинов свою конницу» [11, 9, 49].

Отрезанные от источников воды, целый день находившиеся под обстрелом недосыгаемых для них персидских конных лучников, греки ночью решили отступить к острову, образованному разветвлениями реки Оероя. Отступление по словам Геродота началось настолько «успешно», что центр войска, состоявший из небольших контингентов греческих городов, оказался у реки значительно раньше, чем левое крыло, занимаемое афинянами и правое, на котором стояли спартанцы. Последние, впрочем, тоже совершили бы маневр, если бы не упомянутый Амомфарет, который, следуя законам Спарты и принесенной клятве, наотрез отказался сдвинуться с места. Главнокомандующий греческим войском Павсаний всю ночь (!), до зари, как отмечает Геродот, пытался **переубедить** (выделено нами. — авт.) непокорного командира, даже обзывая его «исступленным безумцем». Отчаявшись изменить его решение, Павсаний приказал своим воинам отступить, в надежде, что Амомфарет, оставшись один, устрашится неминуемой гибели и присоединится к остальному войску. Так и случилось.

Когда персы обнаружили исчезновение греческого войска, то, естественно, устремились в погоню за «трусами» в надежде на легкую победу и напоролась на отряд Амомфарета и находившееся неподалеку все спартанское войско. Спартанцы же, несмотря на то, что представляли самую многочисленную часть союзного войска и сражались далеко не со всей армией персов (40-тысячный, в исчислении Геродота, отряд Артабаза вообще не принял участие в битве) немедленно... обратились за помощью к афинянам: «Афиняне! Теперь, когда нам предстоит решительная борьба за то, быть ли Элладе свободной или порабощенной, мы, лакедемоняне, и вы, афиняне, покинуты союзниками на произвол судьбы, которые бежали прошлой ночью. Итак, теперь ясно, что надо делать: защищаться и помогать друг другу как только можем. Если бы конница сначала напала на вас, то нам и тегейцам, которые одни вместе с нами остались верными Элладе, нужно было бы помочь вам. Но так как теперь вся вражеская конница обратилась против нас, то вы по справедливости должны оказать помощь сильнее всего теснимой врагом части войска. Если же сверх ожидания окажется, что сами вы не в состоянии помочь, то окажите нам услугу, послав стрелков из лука [против конницы]. Мы

знаем, что за время этой войны вы превзошли всех других храбростью. Поэтому, как мы надеемся, вы и теперь исполните эту просьбу» [11, 9, 60]. И это при том, что каждого спартанского гоплита сопровождали в походе 7 легковооруженных илотов, тогда как у афинян это соотношение было 1:1. Этого мало: в битву спартанцы вступили вынужденно, когда их союзники тегейцы, будучи не в силах выносить непрерывный обстрел, стихийно бросились в атаку! Окончательная же победа досталась грекам, поскольку у персов «не было только тяжелого вооружения, и к тому же еще боевой опытности» [11, 9, 62], и только после того как в рукопашной пал их вождь Мардоний.

\* \* \*

Античная военная риторика периода Греко-персидских войн, как можно судить по дошедшим до нас трудам историков, реализуется, в основном, в жанре военного совета перед сражениями, причем речи полководцев ни по духу, ни по стилю, ни по лексическим средствам практически не отличаются от политических убеждающих речей, произносимых в народных собраниях.

Объяснить это можно, с одной стороны, тем, что это время отнюдь не было временем расцвета в Греции не только военной, но и общей риторики. Коракс Сиракузский отошел от государственных дел и начал заниматься обучением красноречию около 467 г. до н.э., а знаменитый Горгий Леонтийский прибыл в Афины и выступал там со своими речами, произведшими большое впечатление на афинскую публику, только в 427 г. до н.э. Таким образом, время знаменитых учителей красноречия в Афинах, а тем более в Спарте тогда еще не наступило; риторика еще не стала повсеместно употребляемым средством достижения успеха в гражданской и военной карьере.

С другой стороны, ход военных действий определялся в значительной степени не военными, а политическими и, особенно, религиозными факторами. Обе стороны огромное внимание уделяли не только тактическим передвижениям и построениям, но и благоприятным предсказаниям, знамениям и гаданиям, которые оказывали на дух войска несоизмеримо большее влияние, чем, скажем, вдохновляющие речи полководцев. Общеизвестен отказ спартанцев посылать войско к Фермопилам до окончания празднеств в честь Аполлона Карнейского. Так же и Павсаний при Платеях до последней минуты приносил жертвы богам, ожидая благоприятного предсказания, в то время как его воины уже падали под

стрелами персидских лучников. Это вполне объяснимо, если учесть, что греческие контингенты состояли из ополчений граждан, которые (кроме, возможно, спартанцев) не отличались особенно высоким профессионализмом и боевым духом. Главной задачей вождей греков было довести эти войска до рукопашной схватки, когда в действие вступали уже психологические механизмы инстинкта самосохранения и начинало сказываться превосходство греков в тяжелом вооружении.

Впрочем, попытки приободрить воинов на поле боя тоже, вероятно, имели место. Парадоксально, но единственный подобный эпизод в истории Греко-персидских войн, отмеченный Геродотом, относится к союзникам персов фокийцам. Когда персы, желая проверить мужество новоявленных союзников, внезапно окружили их кавалерией и сделали вид, что готовятся открыть по ним стрельбу из луков, то «их военачальник Гармокид обратился к фокийцам с речью и, воодушевляя их, сказал вот что: «Как я полагаю, нас оклеветали фессалийцы. Пусть теперь каждый проявит свою доблесть! Лучше ведь пасть в борьбе, храбро защищая свою жизнь, чем сдаться врагам на милость и погибнуть позорной смертью. Дайте врагам почувствовать, что они варвары, коварно замыслившие гибель эллинам» [11, 9, 17]. Заметно, что и здесь, подобно ответу афинян Мардонию (см. выше), основным мотивом противостояния греков и персов признается, если можно так выразиться, «культурная несовместимость» народов (ибо варварами греки считали всех, не относящихся к греческой культуре, не говорящих по-гречески), что в критическую минуту признается даже формально союзниками персов.

С ростом численности войск, участвующих в сражении, возрастала протяженность боевого порядка и его расчлененность, как в сражении при Платеях. Это вызвало к жизни относительно новый жанр военной риторики — жанр боевого донесения, в котором докладывалось положение дел и излагались просьбы к главнокомандующему. Этот вид военных речевых коммуникаций осуществлялся, обычно через посыльных (глашатаев). Например, боевое донесение, посланное военачальником мегарского контингента союзных сил Павсанию в начале Платейского сражения, гласило: «Так говорят мегарцы: «Союзники! Мы не можем одни выдерживать натиск персидской конницы на том месте, где вы нас сначала поставили. До сих пор мы все же сражались неукротимо и доблестно, хотя враги и теснят нас. Теперь же, если вы не пришлете на смену других, знайте, что нам придется покинуть наше место в боевом строю» [11, 9, 21].

В целом, военная риторика периода Греко-персидских войн может считаться военной только с большой натяжкой. Скорее это обычная риторика, приспособленная для нужд военного времени, без особенного учета его специфики. Истинный пафос военной риторики еще ждал кардинального изменения этоса, связанного с изменением ценностно-смысловых ориентаций слушателей.

### 3.2 Военная риторика периода Пелопоннесской войны

О Пелопоннесской войне (431—404 гг. до н.э.), длившейся 27 лет и приведшей в упадок все участвовавшие в ней государства, мы имеем свидетельство одного из самых надежных источников того времени — Фукидида (ок. 460 — ок. 400 гг. до н.э.). «Фукидид, как это видно из его труда, получил прекрасное образование... и был одним из самых крупных и характерных представителей греческой мысли того времени» [8, С. 135]. Не менее важно, что Фукидид сам был афинским стратегом, и в его описании войны и отдельных сражений чувствуется опытный полководец.

В компетентности описания событий «с недостижимым мастерством изложенных у Фукидида, превзошедшего самого себя в силе, ясности и красочности» [51, С.163] не сомневался и Плутарх, яростно полемизировавший с Геродотом по поводу изложения событий Греко-персидских войн. В «Истории» Фукидида речам действующих лиц отводится немалое место: 40 больших речей и множество диалогов; например, переговоры афинян и мелиян (жителей о. Мелоса. — авт.) отражают все виды античного красноречия.

В отличие от Геродота в широком употреблении речей у Фукидида сказались «то направление и та склонность к ораторскому искусству, которые начинали господствовать в тогдашней жизни (*курсив наш* — авт.) и литературе Афин» [8, С. 143]. Нельзя забывать, что время Фукидида было временем софистов, Перикла, Сократа.

Греческие войска представляли собой уже не совсем те ополчения граждан, которые, по мнению Ксенофонта, обладают существенными недостатками: «включают в свой состав как людей, уже превысивших наиболее подходящий для военной службы возраст, так и еще не совсем возмужавших отроков; и вдобавок во всех городах только незначительное

количество людей занимается физическими упражнениями» [32, 6]. Время, прошедшее с момента окончания персидской агрессии, не прошло для греков «даром» из-за постоянных раздоров между афинянами и спартанцами и городами, входившими в возглавляемые ими союзы. «При этом они усовершенствовались в военном деле, изоощряясь среди опасностей, и приобрели большой опыт», — замечает Фукидид [66, 1, 19].

Кроме того, вследствие разорения войной значительной части крестьянства, приобрело невиданный размах явление, которое и по окончании войны оказало значительное влияние на формирование и состав вооруженных сил и всю историю Эллады — наемничество. Этим косвенно и объясняется тот факт, что гражданская, по сути, война на истощение при всей ее отвратительной жестокости, связанной с избиением пленных и даже нередко всего мужского населения захваченных городов, длилась так долго. Наемники же, по мнению Ксенофонта, существенно превосходили гражданское ополчение как боевыми качествами, так и боевым духом, поскольку «каждый из наемников знает, что военная доблесть даст ему в жизни и почет и богатство» [32, 6].

Стратегия истощения, практиковавшаяся в этой войне обеими сторонами, предполагала действия против операционных баз противника, разорение городов его союзников, уничтожение гарнизонов и небольших контингентов войск. К генеральным сражениям, решающим исход войны одним ударом, афиняне, следуя вначале мудрым советам Перикла, не стремились. Первое время они прямо уклонялись от сухопутных сражений со спартанцами, предпочитая отдать им на разорение область Аттики, тем более, что зависели они, в основном, от привозного хлеба Северного Причерноморья. Таким образом, боевые действия, преимущественно, велись относительно небольшими отрядами войск. Например, в сражении при Амфиполе афинская и спартанская армии насчитывали примерно по 2500 человек. Афинский экспедиционный корпус Никия, отправленный на Сицилию, «наиболее дорого стоившее и великолепное войско из всех снаряжавшихся до того времени» [66, 6, 31], насчитывал всего около 5000 гоплитов (из них 700 в качестве корабельных воинов) и около 500 легковооруженных. При таком количестве войск военачальники были хорошо известны практически каждому воину, что делало возможным харизматическое влияние их личности в произносимых ими речах.

Этими тремя обстоятельствами объясняется тот факт, что во время Пелопоннесской войны не только ни одно сражение, но даже каждый

относительно важный эпизод сражения не обходились без предварительного «увещания» или «ободрения» полководцами своих войск. Особых жанровых отличий между этими двумя видами речей не наблюдается; разве что в первом случае несколько преобладает убеждающая, а во втором — вдохновляющая речь. Кроме того, в обоих случаях, видимо уразумев, что «солдат сражается гораздо лучше, когда имеет чувство общей цели, а не только, как выглядит мир из его окопа» [72, С. 327], полководцы старались в своих речах наметить хотя бы замысел сражения и, с одной стороны, вселить уверенность в войска в его правильности, а с другой — разъяснить воинам то, что от них будет требоваться в бою. Речи произносились не только перед сухопутными, но и перед морскими сражениями, от которых в немалой степени зависел исход войны.

При полной невозможности подробно разобрать здесь все речи, относящиеся к периоду Пелопоннесской войны, вследствие огромного по сравнению с Греко-персидскими войнами числа сражений, ограничимся рассмотрением образцов военной риторики, ярко характеризующих особенности жанров военных речевых коммуникаций того времени. Первые две битвы: морское сражение при Навпакте, принесшее победу афинянам, и сухопутное при Амфиполе, закончившееся их сокрушительным поражением, знаменуют собой фактически начало и конец первого периода войны, т.н. Архидамовой, по имени спартанского царя Архидам II, принявшего в ней активное участие. Сражение при Сиракузах, самое, пожалуй, трагическое событие в этой войне, вообще богатой на трагические не только для афинян, но и для всей Греции события, относится ко второму периоду войны, когда афиняне предприняли столь многообещающую вначале морскую экспедицию в Сицилию. После катастрофы при Сиракузах афинское могущество пошатнулось настолько, что исход всей войны, по мнению историков [66, 7, 87], можно было считать решенным.

Морскому сражению при Навпакте на третий год войны предшествовал удачный для афинян бой при Реи, когда 20 афинских кораблей одержали победу над 47 спартанскими. Неудача для спартанцев была большой неожиданностью, и они всецело относили ее на счет недостатка энергии, а не недостатка опытности в морском деле. В соответствии с этим перед новым сражением они решили укрепить руководство флотом посылкой в качестве советников Тимократа, Брасида и Ликофона. Брасид успел прославиться в войне решительностью и мужеством;

Фукидид относил его к лучшим спартанским полководцам Пелопоннесской войны. Как и следовало ожидать, перед новой битвой советники решили, прежде всего, поднять дух войска.

«Затем Кнем, Брасид и прочие вожди, желая поскорее дать морскую битву, и, видя, что большинство их вследствие прежнего поражения робеет и обнаруживает нерешительность, обратились к ним со следующей ободрительной речью. «Пелопоннесцы, если кто из вас, быть может, боится предстоящей битвы, имея в виду исход происшедшей, то опасение это покоится на неосновательном предположении. Тогда боевая подготовленность наша, как вы знаете, была недостаточна; кроме того, было немало неблагоприятных для нас случайностей; наконец, тогда мы впервые сражались на море, и наша неопытность также, вероятно, была причиной неудачи. Таким образом, поражение произошло тогда не по вашей трусости, и было бы неосновательно падать духом из-за неудачного результата. Следует иметь в виду, что люди могут терпеть неудачи вследствие превратностей судьбы, но им надлежит быть всегда стойкими духом, и, когда есть мужество, неопытность не должна служить достаточным оправданием, чтобы быть трусом в каком-либо деле. Между тем вы не настолько уступаете неприятелю в опытности, насколько превосходите его отвагою. Искусство врагов, которого вы всего более боитесь, только тогда принесет пользу, если оно соединено с мужеством; без храбрости бессильно против опасностей всякое искусство. Ведь страх отшибает память, а искусство без физической силы совершенно бесполезно. Итак, большей опытности врагов противопоставьте большую отвагу. Преимущества ваши заключаются в большей численности кораблей; превосходство большею частью остается за более многочисленными и лучше вооруженными. Таким образом, по нашему мнению, нет ничего, что делало бы вероятным наше поражение. Все прежние ошибки теперь приняты в расчет и послужат нам уроком. Итак, будьте уверены в себе, и кормчие, и корабельщики, пусть каждый исполняет свое дело и не покидает поста, который ему назначен. Мы подготовим нападение не хуже прежних вождей и никому не дадим предлога стать трусом. Если же кто, быть может, и пожелает быть таковым, он понесет за это соответствующее наказание; напротив, доблестные воины будут удостоены подобающей награды за храбрость» [66, 2, 87].

Речь эта, как можно судить, направлена почти исключительно на поднятие дисциплины и самым, пожалуй, неудачным ее пассажем является упоминание о наказании за проявленную трусость, на которую,

таким образом, спартанские вожди априорно считали способными своих воинов и матросов. Ошибку Брасида фактически повторил впоследствии французский адмирал Вильнев, допустивший подобный намек в своей речи перед Трафальгарским сражением, что адмирал С.О. Макаров считал грубейшим психологическим просчетом. Кроме того, в речи упомянута сама возможность поражения, хоть и маловероятная, но маловероятная всего лишь «по нашему мнению».

Это «ободрение» относится скорее к жанру «увещевания», в нем нет почти ничего (кроме весьма характерного спартанского упования на присущую им отвагу и физическую силу), что вселяло бы в людей уверенность в победном исходе боя. Не встречается и само слово «победа», да и призывают военачальники не к победе, а лишь к добросовестному исполнению долга. Большая часть речи вообще посвящена объяснению причин недавнего поражения, тем самым лишней раз оживляя в людях негативные воспоминания о нем. В общем, речь вялая, не пробуждающая в слушателях воинского духа и желания победить.

Афинский командующий Формион «заметив, что воины ввиду имеющих неприятельских сил упали духом, решил напомнить им об их отваге, собрал их и произнес такую речь. «Я собрал вас, воины, потому что вижу, как вы боитесь многочисленности врагов, и потому, что считаю недостойным робеть перед тем, что не страшно. Ведь они снарядили столь большое число кораблей, не равное нашему, прежде всего потому, что они были побеждены раньше и потому, что сами не считают себя равными нам. Далее, они идут на нас главным образом в той уверенности, что их долг быть мужественными, и почерпают свою смелость лишь в своей опытности вести сухопутную войну, в которой они большею частью имеют перевес. Они воображают, что вследствие этого они будут иметь такой же успех и на море. Кроме того, лакедемоняне, как пользующиеся гегемонией, ведут в опасность большинство своих воинов против их желания, лишь ради собственной своей славы, так как, потерпев жестокое поражение, союзники их никогда не начали бы новой морской битвы. Отваги неприятелей не страшитесь. Вы внушаете им гораздо больший страх и с большим основанием, как потому, что раньше одержали над ними победу, так и вследствие уверенности их, что мы не вступали бы с ними в борьбу, если бы не надеялись совершить что-либо достойное при столь большой разнице в силах, Неприятель более многочисленный, как в настоящем случае лакедемоняне, при нападении полагается больше на свою силу, нежели на свою решимость; напротив, сторона

более малочисленная и выступающая не по принуждению, отваживается идти на врага с мощною душевною твердостью. Принимая все это во внимание, они боятся нас в силу необычайности положения больше, чем боялись бы в том случае, если бы мы располагали средствами, соответствующими их силам. Я, однако, насколько от меня зависит, не дам битвы в заливе и не войду в него. Я понимаю, что для небольшого числа кораблей с лучшим ходом и с испытанным экипажем невыгодно сражаться в узком месте против кораблей многочисленных и с искусным экипажем: нельзя ударить, как следует, корабельным носом, если не видишь неприятельских кораблей издали, нельзя и отступить вовремя, если будут теснить неприятели; невозможно ни разрывать линию кораблей, ни делать поворотов, что доступно кораблям с лучшим ходом. Все это я, по мере возможности, предусмотрю; вы же держитесь на кораблях в порядке, быстро исполняйте приказание, в особенности потому, что мы стоим так близко от неприятеля; в битве всего более наблюдайте порядок и тишину, что полезно в военных действиях вообще, а в особенности в морском сражении. Отражайте неприятеля достойно ваших прежних подвигов. Вам предстоит серьезное состязание: или сокрушить надежду пелопоннесцев на морские их силы, или увеличить опасения афинян за свое морское владычество. Еще напоминаю вам, что большинство неприятелей было уже побеждено вами, а настроение побежденных не остается неизменным среди одних и тех же опасностей» [66, 2, 89].

Речь Формиона значительно более искусна, нежели речь его спартанского «оппонента». Прежде всего, бросается в глаза спокойная деловитость и уверенность в себе флотоводца, которая невольно передается и читающему, и слушающему. Большая часть речи посвящена объяснению диспозиции и порядка действий экипажей. И это очень точно рассчитанный ход — занять перед боем матросов не подсчетом кораблей противника, а обдумыванием собственных маневров. Флотоводец общается с подчиненными как с равными, профессионалами, понимающими толк в предстоящем деле, способными понять замысел своего начальника, что всегда возвышает человека в собственных глазах и льстит самолюбию воина.

Формион не «давит на психику» подчиненных, в его речи нет и намека на возможность поражения или проявления экипажами трусости. Напротив, оратор настойчиво внедряет в сознание слушателей мысль о том, что враги их боятся, прибегая для этого к сложной софистической

аргументации «от противного», самый факт многочисленности неприятеля обращая себе на пользу. Парадоксальный, на первый взгляд, вывод, что противник тем больше боится, чем больше его превосходство в силах, хорошо подготовлен предшествующей аргументацией и в силу своей парадоксальности воспринимается остроумным и чрезвычайно ободряющим. Используется и прием «лишения противника воинской чести», упоминанием о том, что спартанцы ведут в бой своих союзников чуть ли не насильно.

Все это дало свои результаты. Несмотря на то, что сражение, вследствие действительно подавляющего численного превосходства спартанского флота, развивалось для афинян тяжело, они смогли выйти из него победителями.

Сражение при Амфиполе (10-й год войны) интересно для нас тем, что при подготовке к нему спартанский военачальник Брасид обращался, как указывалось в главе 2, не ко всему пелопоннесскому войску, а только к его части — всего 150-ти гоплитам, которые должны были решить исход битвы неожиданным ударом.

Сражение, пишет Фукидид, не относилось к разряду «правильных»; его исход был предreshен внезапно и неожиданностью нападения, несмотря на то, что ка-



Рис. 5. Спартанский воин

чеством войска спартанцы, по их же собственному мнению, уступали афинянам. Из-за непредвиденного им развития событий афинский командующий Клеон *даже не успел произнести речь перед войсками*. К тому же Клеон не пользовался любовью и авторитетом у воинов, которые перед сражением «по поводу командования его стали сопоставлять его невежество и малодушие с опытностью и отвагой противника; вспоминали они и то, с какою неохотой шли за ним из дому» [66, 5, 7]. Битва при Амфиполе интересна еще и тем, что и Брасид — лучший военачальник спартанцев и Клеон — лидер радикальной партии афинских демократов нашли в ней свой конец.

Итак, «Брасид созвал всех воинов и с целью ободрить их и сообщить им свой план сказал следующее. «Пелопоннесцы, достаточно кратко указать на то, что мы пришли из такой страны, которая благодаря доблести всегда была свободна, что вам, дорянам, предстоит сражаться с ионянами, которых мы привыкли побеждать. План же задуманного мною нападения я вам сообщу, чтобы кто-нибудь из вас не струсил ввиду того, что положение наше кажется слабым, так как мы идем на опасность в небольшом числе, не всеми силами. Я предполагаю, что враги подошли к этому месту, чувствуя презрение к нам и в надежде, что никто не дерзнет выйти на битву с ними; я думаю, теперь они, беззаботные, разбрелись в беспорядке и заняты рекогносцировкой местности. Итак, пока враги еще не приготовлены и уверены в своей безопасности, пока они, насколько мне кажется, помышляют больше об отступлении, нежели об удержании позиции, пока, по беспечности, они не остановились на определенном решении, я хочу со своими воинами предупредить, если смогу, их отступление и скорым маршем ударить в середину их войска. Затем ты, Клеарид, когда увидишь, что я уже тесню их и, что весьма вероятно, навел на них страх, веди своих воинов, амфиполитов и прочих союзников, внезапно открой ворота, бросайся на врага и спеши возможно быстрее вступить в рукопашную. И сам ты будь доблестен, как и подобает спартиату, и вы, союзники, следуйте за ним мужественно и знайте, что для славной борьбы нужны три условия: решимость, чувство чести и повиновение начальнику. Будьте убеждены, что сегодня вы или докажете нашу доблесть и стяжаете себе свободу и имя союзников лакедемонян, или же сделаетесь рабами афинян, — это в наилучшем случае, не то будете проданы в рабство или перебиты; и рабство ваше будет тягостнее прежнего, а освобождению остальных эллинов вы воспрепятствуете. Итак, не робейте, помня, за что идет борьба. Что касается меня, то я докажу, что могу не только давать советы другим, но и сам выполнять их на деле» [66, 5, 9].

Речь достаточно короткая, энергичная, написана хорошим слогом. В ней Брасид, как и Формион в речи, приводившейся выше, все внимание обращает на разъяснение предстоящих действий, что заставляет предположить, что речи перед началом сражения в то время во многом представляли собой архаичное подобие складывающегося жанра боевого приказа. Обращает на себя внимание перечисление сугубо воинских добродетелей: решимости, чувства чести и дисциплинированности. Эта речь, судя по всему, была обращена к наемным войскам или опытным

воинам, «полупрофессионалам», что вполне возможно, учитывая, что война шла уже десятый год.

В речи удачно использована стилистическая фигура — повтор, придающая слогу ритм. Особенно хороша та часть речи, которая обращена к Клеариду, командующему основными силами спартанцев и их союзников. В насыщенном глаголами, придающими речи несказанную живость и действенность отрывке, кажется, слышны фразы из «Словесного поучения солдатам» А.В. Суворова: «Бросься в ров, скачи через вал...». Блестяще, кратко и сильно выражено наставление союзникам. Напоминание о мрачной реальности войны должно было ожесточить их и придать им рвения в предстоящей схватке. В заключительных словах Брасид, словно следует триединой формуле мудрости Демокрита: «Из мудрости вытекают три способности: выносить прекрасные решения, безошибочно говорить и делать что следует» [36, С. 237].

К недостаткам речи можно отнести объяснение, почему полководец решил обратиться к воинам с речью («чтобы кто-нибудь из вас не струсил»); об ошибочности такого подхода уже говорилось выше. **Совершенно противопоказано использование в речи перед войсками глаголов в изъявительном («я думаю», «я полагаю») и условном наклонении («если смогу») и прочие неопределенно выраженные действия и пожелания («весьма вероятно», «возможно быстрее»).**

О том, что речь, при наличии определенных недостатков все же достигла своей цели, говорит бегство с поля боя афинян, «приведенных в панику отвагою Брасида» [66, 5, 10]. Об эффективности воздействия речи на морально-психологическое состояние войск можно судить по цифрам потерь: 600 убитых у афинян против 7(!) у спартанцев. Фукидид объясняет это тем, что решимость и порыв врагов «навел ужас» на афинян, подавив их волю к сопротивлению.

Настоящая катастрофа постигла афинян в сицилийской экспедиции. Она расценивалась Фукидидом как «важнейшее военное событие не только за время этой (Пелопоннесской — авт.) войны, но, как мне кажется, во всей эллинской истории» [66, 7, 87]. Экспедиция оставила после себя в качестве образцов военной риторики не в таком количестве речи, произнесенные перед сражениями, как речи, которыми афинские вожди отчаянно пытались сохранить боеспособность армии, многократно терпевшей поражения. Такого рода речи произносить несравненно труднее и полководцу надо обладать непоколебимой верой в себя, в свой талант и удачливость, обладать огромным запасом нравственных и

физических сил, для того, чтобы речь его смогла своим магнетическим воздействием передать эту уверенность подчиненным.

Но как раз этого и не было у афинского главнокомандующего Никия. Отправленный в поход народным собранием фактически вопреки собственной воле, мучившийся болезнью почек, из-за чего он многократно просил граждан сменить его на многотрудном посту стратега, Никий был совершенно не тем человеком, который мог бы переломить ход несчастной экспедиции. И хоть его ораторское дарование заставляет нас отнести его не к последним людям своего времени, что заметно хотя бы из речи, произнесенной им перед началом первого, еще удачного для афинян сражения при Сиракузах, недостаток воли и предприимчивости вполне сказался, когда потребовалось произносить речи при обстоятельствах более печальных.

«Никий видел упадок духа в войске и большую перемену в его настроении. Обходя ряды, он старался ободрять и утешать воинов, насколько это казалось возможным при данных обстоятельствах. Переходя от одной группы к другой, он говорил громче обыкновенного как из усердия, так и из желания, **чтобы голос его слышался возможно дальше и действовал на войско** (выделено нами — авт.). «Афиняне и союзники! Не должно терять надежды даже в нынешнем нашем положении: иные вышли невредимыми и из более трудных обстоятельств, чем наши. Не укоряйте себя через меру ни за неудачи, ни за теперешнее незаслуженное нами бедствие. Я не сильнее любого из вас (сами видите, как извела меня болезнь); не был я несчастнее других в частной и в общественной жизни, а теперь подвергаюсь той же опасности, как и самый низший из воинов. Между тем в своей жизни я всегда исполнял то, что положено по отношению к богам, и в отношении к людям совершал много справедливого и безупречного. Вследствие этого я все-таки с бодрой надеждой гляжу на будущее; вас же страшат неудачи больше, чем подобает. К тому же близок, вероятно, конец нашим неудачам: мера счастья неприятелей исполнилась, и если походом своим мы возбудили зависть в каком-либо божестве, то за это понесли уже достаточную кару. Нам также теперь следует надеяться на милость божества, потому что теперь мы достойны не столько зависти, сколько жалости. Взгляните на самих себя: вы идете стройными рядами в полном вооружении и в огромном количестве. А потому не страшитесь чересчур и сообразите, что сами по себе, где бы вы ни утвердились, вы тотчас составите государство, и всякому другому государству в Сицилии нелегко было бы выдержать ваше нападение или вытеснить вас откуда-либо с места поселения. Позаботьтесь же сами о том, чтобы совершить поход в

безопасности и в строгом порядке. С одинаковою быстротою должны мы продвигаться вперед и днем, и ночью, потому что съестные припасы наши скудны, и лишь тогда вы считайте себя в безопасности, когда мы зайдем какую-либо дружественную местность сикулов: последние из страха перед сиракусянами остаются еще верны нам. К ним посланы вперед гонцы с приказанием выйти нам навстречу и доставить съестные припасы. Вообще, воины, знайте, что вам необходимо показать себя доблестными мужами, так как вблизи нет такого пункта, где, несмотря на утомление ваше, вы могли бы считать себя достигшими спасения. Если же теперь вы ускользнете от неприятеля, то все получите возможность узреть снова то, к чему вы стремитесь, а вы, афиняне, восстановите великую мощь государства, хотя теперь и пошатнувшуюся. Ведь государство — это люди, а не стены и не корабли без людей» [66, 7, 76].

Прежде всего заметно, что полководец обращается не ко всему войску, а беседует с небольшими группами воинов и это совершенно правильно. Ибо афиняне ввиду решительного поражения их флота находились в состоянии, близкой к панике. Фукидид оставил очень реалистичное описание переживаний воинов, наблюдавших за битвой: «Войско, охваченное... одним общим порывом отчаяния, все вопило и рыдало» [66, 7, 71].

При подобных массовидных явлениях близкий, возможно, тактильный контакт делает речь похожей на жанр психотерапевтической беседы, как сказали бы мы сейчас. Это в полной мере «увещание», подобное любому житейскому разговору при крупной неудаче или тяжелой утрате. Здесь и упоминание о том, что не может же все время не везти, должно же и повезти, в общем, «все пройдет». Здесь и указания типа «бывает и хуже». Здесь и резонерство вроде того, что «надо надеяться». Правильно использован и личный пример командующего, который разделяет бедствия с воинами и их судьбу, но не падает духом. Никий весьма умело подчеркивает, что воинов все же осталось достаточно много для того, чтобы организовать отступление и всем сообща спастись.

После того как почва для советов и приказов некоторым образом подготовлена, полководец весьма осторожно напоминает о трудностях и опасностях предстоящего похода, но тут же ободряет (пусть даже эфемерной) надеждой на грядущую помощь союзников. Заключительные призывы проявить мужество и, особенно, последняя фраза очень неплохи, вот только напомнить, наверно, надо было не о мощи государства, а о детях и семьях, которые ждут воинов дома.

Как бы то ни было, но речь как психотерапевтическая беседа построена неплохо. Плохо то, что больной полководец находился, видимо (он сам указывает на это), в весьма жалком физическом состоянии и не мог в последующей энергичной вдохновляющей речи сообщить надежду на спасение и необоримое стремление к жизни и свободе доведенным до отчаяния людям, которые самим своим отчаянием могли бы стать страшной для врагов силой.

Никий и Демосфен не смогли переломить упадок духа в войске; это видно из отказа гребцов идти на прорыв вражеской блокады, несмотря на все еще имевшееся у афинян превосходство в силах флота. Не смогли полководцы и элементарно навести подобие порядка и дисциплины. Войско начало отступление по суше, даже не похоронив убитых, оставив в лагере больных и раненых, чьи крики и проклятия, очевидно, окончательно деморализовали отступавших. Фукидид постоянно подчеркивает, что они были перепуганы и отступали в большом беспорядке; войско разделилось в бегстве на две части, которые не оказывали помощи друг другу и закономерно бесславно погибли поодиночке.

На этом примере видна вся опасность для морального духа войска череды даже относительно небольших поражений, которые исподволь подтачивают психологическую устойчивость воинов настолько, что в решительный момент никаким речевым воздействием оказывается уже невозможно поправить положение дел. Впрочем, на наш взгляд, объясняется это во многом тем, что основу афинского войска составляли все те же вооруженные граждане, а не профессиональные воины. Граждане, про которых сам Никий говорил: «Я хорошо знаю ваш характер: вы желаете слушать наиболее приятные вещи, а потом, когда случится что-либо несогласное с ними вы жалуетесь» [66, 7, 14], обладали невысокой морально-психологической устойчивостью и не смогли найти в себе душевные силы в час испытаний. Гибель 40-тысячной армии пример тем более поразительный, если вспомнить что буквально через 12 лет всего 10 000 греков (наемников (!) на службе персидского царя) во главе с Ксенофонтом, не потерявших в значительно худших обстоятельствах голову, смогли пройти всю необъятную Персидскую империю, подготовив, таким образом, путь для ее завоевания Александром.

\* \* \*

Проведем анализ развития военной риторики в период Пелопоннесской войны. В практике военных речевых коммуникаций риторически

разработанные речи заняли прочное место. Речи перестали быть уделом военных советов; их аудитория значительно расширилась и стала включать все войско или его отдельные части. Это означает, что речь почти повсеместно стала восприниматься полководцами как средство регуляции морально-психологического состояния войск. Вместе с тем собственно военные речи во многом сохранили облик классических ораторских речей: совещательных, судебных, эпидейктических (прил. 1, 3). Речи по-прежнему ориентированы на разум и в гораздо меньшей степени затрагивают чувства и эмоции слушателей. Военные ораторы в своих обращениях к войскам еще очень слабо учитывают особенности этоса, т.е. жизненные интересы слушателей, их запросы, особенности психических состояний и реакций. В редких случаях попытки такого учета имели место: «Напоминал он (Никий — авт.) и многое другое, о чем говорят люди в столь решительный момент, не заботясь о том, что иному могли показаться устаревшими такие речи, при всех случаях одинаковые: говорил о женах и детях, об отеческих богах — под влиянием наступающей паники люди громко взывают ко всему этому, считая это полезным» [66, 7, 70]. Как видим, сам Фукидид настроен по отношению к таким речам скептически; в принципе, с ним можно согласиться, учитывая все вышесказанное по поводу контингента, слагавшего афинскую армию.

Речи в то время, очевидно, предполагалось целесообразнее использовать, в основном, для разъяснения воинам сложившегося положения, замысла полководца и их собственных действий в предстоящем сражении.

Следует отметить, что в речах полководцев Пелопоннесского союза и Сиракуз чаще присутствует *патриотический* пафос борьбы за свободу, за родную землю, против империалистической политики Афин. «Как же тут не бороться с ними до последнего изнеможения?» — восклицает в битве при Делии (424 г. до н.э.) беотиец Пагонд [66, 4, 92]. Пафос речей афинских полководцев выглядит более приземлено: они призывают сражаться за величие Афин, которое своим гражданам обеспечило многие права и преимущества и, в критических случаях, за сохранение собственной жизни. Никий, например, своим воинам «напоминал о родине, которая наслаждается величайшей свободой, где каждому дана неограниченная возможность жить по своей воле» [66, 7, 71]

Итак, греческие воины периода Пелопоннесской войны хоть и оставались еще во многом обычными гражданами своих городов-государств, умеющими ценить безусловно риторически разработанную речь поли-

тических ораторов, но уже постепенно приобретали специфически военные, «солдатские» добродетели, предъявляющие особые требования к военной риторике. От речи военного оратора начинают требоваться не изящные силлогизмы и стилистические фигуры, а прежде всего ясность и бодрость слога.

### 3.3. Военная риторика Александра Македонского

Переходя к описанию состояния военной риторики величайшего периода греческой истории, мы будем опираться главным образом на труд римского историка Арриана Флавия (ок. 85—175) «Походы Александра», который пользуется особым доверием у современных историков. Неосновательно считать, как например, И.Г. Дройзен, что речи, которые приводит Арриан в своем сочинении «представляют собою вольные измышления» [18, С. 418]. Историк совершенно выпускает из вида многозначительный факт того, что речи появляются в описании походов Александра только начиная с битвы при Иссе, т.е. с того момента, когда сам Александр, его военачальники и войска поверили в себя, убедились в своем превосходстве над персами и благополучном исходе похода. Ни в описании похода во Фракию против трибаллов и иллирийцев, ни при изложении обстоятельств взятия Фив, ни даже при описании битвы при Гранике не приводится Аррианом ни одной речи. Так о речи в сражении при Гранике сказано только, что «Александр вскочил на лошадь, **приказал окружающим следовать за ним и вести себя доблестно** (выделено нами. — авт.)» [5, С. 62].

К тому же Арриан везде приводит не тексты речей, а их содержание, следовательно, к исторической достоверности сообщаемых фактов он относился очень строго. Например, он постоянно оговаривается, когда содержание одних источников противоречит другим, и в этом случае сам оценивает степень правдивости той или иной версии. К тому же, одним из источников ему служат свидетельства личного телохранителя Александра Птолемея Лага, сопровождавшего царя во всех его походах и не понаслышке знакомого со всеми обстоятельствами событий.

Наконец, лучшим доводом в пользу достоверности свидетельств Арриана, на наш взгляд, служит то обстоятельство, что он активно участвовал в римской государственной и военной жизни (в 131—137 гг. в качестве личного легата императора Адриана он даже управлял провинцией

Каппадокия). Как представляется, римский чиновник такого ранга особенно ответственно относился к сведениям, сообщаемым им в своем труде, и обладал необходимой компетенцией для того, чтобы правильно оценивать истинность привлекаемых источников.

Гениальность Александра Македонского заключалась не в особом устройстве им своей армии, которая была устроена еще его отцом, не в изобретении новых тактических приемов и построений, ибо македонцы во всех сражениях предпочитали хорошо отработанный удар тяжелой кавалерией правого фланга одновременно с давлением на противника по всему фронту пехотной массой фаланги, но в действительно гениальном умении всесторонне учитывать и использовать значение морального компонента на войне.

Совершенно очевидно, что Александр, приступая к завоеванию огромной Персидской империи, чьи людские и финансовые ресурсы многократно превосходили его собственные, мог надеяться только на психологическое подавление противника. Стратегия сокрушения требовала от него не столько уничтожения военных сил персов, сколько внушения им непреодолимого страха и подавления их воли к сопротивлению.

Об этом он сам говорит в знаменитом ответе Пармениону перед сражением при Гранике (334 г. до н.э.), когда тот выставлял ему всю опасность переправы в виду подготовившегося неприятеля и атаки возвышенного берега реки: «Я знаю это, Парменион, — ответил Александр, — но мне стыдно, что я без труда перешел Геллеспонт, а этот крохотный ручей (так уничижительно называл он Граник) помешает нам переправиться сейчас же, как мы есть. Я переправлюсь: этого требует и слава македонцев, и мое пренебрежение к опасности. **Да и персы воспрянут духом** (выделено нами — авт.), сочтя себя достойными противниками македонцев, так как сейчас ничего они не увидели от македонцев такого, что оправдывало бы их страх перед ними» [5, 1, 13].

В этой связи представляется не случайным неоднократно отмечаемый Аррианом факт [5, 1, 16] нанесения македонцами ударов копьями в лицо противникам. Попасть с коня в голову всадника достаточно трудно, да и уклониться от него значительно проще, но раны в лицо чрезвычайно болезненны и уродуют человека; такими шрамами трудно гордиться, они вызывают ужас и отвращение. Если персидский воин и выживал после такого удара, то его лицо служило наглядным деморализующим примером окружающим, особенно молодым воинам. Если учесть, что

упоминания об этих ударах у Арриана начинаются только в описании похода в Персию, и вообще не встречаются ранее ни у одного греческого историка, то, на наш взгляд, можно предположить, что удары в лицо были точно рассчитанным, сознательным приемом психологического подавления противника.

Помимо прочего, знаменитые победы Александра при Иссе и Гавгамелах были им тщательно подготовлены серией небольших побед над персидскими гарнизонами сатрапий Кари и Каппадокии, фактически оставленных Дарием на произвол судьбы после сражения при Гранике. Этими небольшими победами Александр «приучил» своих полководцев и войска к победам и дал им почувствовать себя непобедимыми. Дария погубило то, что, собираясь с силами для битвы при Иссе, он дал Александру время для беспрепятственного завоевания Ионического побережья и Каппадокии. О том, насколько быстро распространялась слава непобедимости македонца и страх перед его именем говорит, например, факт мгновенного бегства войск, охранявших труднодоступный горный проход «Киликийские ворота», как только персы увидели, «что на них идет сам Александр» [5, 2, 4].

Можно сказать, что македонский царь был автором первой законченной системы воспитания победоносных войск, в которой военная риторика занимала одно из ведущих мест. С одной стороны, как истинный ученик Аристотеля, «Александр обладал ценным даром в немногих словах выразить то, что надо» [26, С. 61], а с другой — военная риторика полководца впервые в истории была продумана и реализована как многоуровневая система речевого воздействия, охватывающая все категории воинской иерархии и все виды жизни и боевой деятельности войск.

Действие этой системы лучше всего иллюстрирует подготовка к битве при Иссе (333 г. до н.э.), первому генеральному сражению, в котором македонцам предстояло встретиться с цветом персидской армии, возглавляемой самим царем, а не его сатрапами.

Накануне сражения на военный совет «Александр созвал стратегов, илархов, и предводителей союзных войск. Он сказал им, что славный исход прежних сражений должен внушить им мужество; что они, которые всегда были победителями, будут сражаться с теми, кто всегда бывал побежден; что их ведет сам бог, вложивший Дарию мысль запереть войско в теснину, где македонцам вполне хватит места развернуть пехоту, а персам большое войско окажется бесполезным; что противник не

может сравниться с ними ни физически, ни нравственно: македонцы с давних времен закаленные в трудах и опасностях, столкнутся с персами и мидянами, давным-давно погрязшими в роскоши, — они, свободные люди, с рабами. Что касается эллинов, которые встретятся с эллинами, то они ведь сражаются не за одно и то же: одни нанялись Дарию за плату и притом небольшую; другие — те, что у них в войске, — добровольно



Рис. 6. Александр Македонский

стали на защиту Эллады. Варвары же, фракийцы, пэоны, иллирицы и агриане, самые крепкие и мужественные из европейских варваров, сразятся с самыми слабыми и изнеженными народами Азии. К тому же сам Александр поведет их на Дария, это будет еще одним преимуществом. Великая награда предстоит им в этом сражении: они победят не сатрапов Дария, не конницу, выстав-

ленную при Гранике, не 20 000 чужеземных наемников, а самый цвет персов и мидян, ... самого великого царя, лично присутствующего. Этим сражением завершится для них покорение Азии и положен будет конец их многочисленным трудам. Затем он вспомнил о прежних блестящих действиях всего войска, о славных подвигах отдельных удальцов, к которым он обратился, называя каждого по имени. Коснулся он и личного своего пренебрежения к опасностям, но так, чтобы никого не задеть. Он вспомнил, говорят, и Ксенофонта, и 10 000 бывших с ним, которых и сравнивать нельзя с его войском ни по числу, ни вообще по значимости: у них не было ни фессалийской, ни беотийской и пелопоннесской, ни македонской или фракийской конницы, вообще не было тех

всадников, которые имеются у Александра, не было лучников и пращников, кроме малого числа критян и родосцев, да и тех Ксенофонт наспеш набрал в минуту опасности; и однако они опрокинули царя со всем его войском у самого Вавилона, одолели племена, которые попадались им на возвратном пути, и пришли домой. **Одним словом, он сказал все, что в таких обстоятельствах хороший вождь говорит перед сражением хорошим солдатам.** Все кинулись пожимать ему руку и, воодушевленные его словами, **требовали, чтобы он вел их в бой** (выделено нами. — авт.) » [5, 2, 7].

Эта речь — огромный шаг вперед в развитии военной риторики античности. Прежде всего, она представляет собой первую классическую вдохновляющую речь, в которой нет места длинным рассуждениям и умозаключениям. Вся речь нацелена на сообщение ближайшим помощникам военачальника уверенности в полководце, в себе и своих войсках. Причем Александр не убеждает в этом слушателей, он достигает цели путем подчас грубой лести, превозносит их в собственных глазах, унижает противника; все речевое воздействие рассчитано исключительно на чувства и эмоции слушателей. Очень любопытно как Александр, видимо памятуя, что в его войске сражается немало наемников-греков, возвышает их мотивы войны и, как бы невзначай, бросает намек, что такие же греческие наемники на стороне персов получают за службу значительно меньше. Впервые использован в качестве риторического средства пример, который Аристотель относит к одним из могущественнейших средств убеждения. Пример хорошо известного всем грекам героического похода, описанного в «Анабасисе» Ксенофонта, позволяет придать речи наглядность и наилучшим образом подкрепляет мысли царя.

В речи нет ни одной фразы, могущей вызвать неприятные ассоциации или эмоции. Нет даже намека на необходимость напрягать все силы, чтобы не потерпеть поражение, хотя такое поражение, при еще продолжающемся в то время господстве персов на море (до взятия Тира), могло бы привести македонцев к катастрофе. Самую очевидную опасность от нахождения с персидским войском их царя, на глазах которого персы станут сражаться с большим ожесточением, Александр умеет преподнести как обстоятельство, доставляющее тем больше чести македонцам, которым выпало победить лучшее войско врагов.

Наконец, использован прием «последнего и решительного боя», служащего войскам скорое возвращение на родину, который после этого

будет многократно повторяться в речах других полководцев, вплоть до Наполеона Бонапарта и И.В. Сталина. Несмотря на то, что эти обещания зачастую бывают заведомо ложными, как и в рассматриваемом случае, они являются неплохим средством психологической мобилизации, поскольку последним усилиям обычно отдаются все силы без остатка.

Александр первый обратил внимание на такое мощно воздействующее средство как обращение по имени, звук которого является самым приятным для человеческого слуха, и на гордость, самолюбие, славолюбие (которым в избытке обладал и сам) военного человека, на которых он успешно играл в этой речи. Своим подчиненным, более того, подданным уступал он всю славу этой битвы, скромно указывая только на то, что разделит с ними их труды и опасности.

Заслуживает внимание и то, как реализовано обращение Александра к войскам непосредственно перед боем. Это — следующий уровень речевого воздействия.

«Войско... он некоторое время вел вперед с остановками; **он считал, что хорошо продвигаться медленно и спокойно**. Дарий не шел ему навстречу,... он ждал Александра на берегах реки, часто обрывистых; в тех местах, где переход был удобнее, он распорядился протянуть частокол. Это сразу показало Александру и его воинам, что Дарий боится. Когда персидский лагерь был уже близко, Александр объехал верхом весь строй, увещевая воинов мужественно держаться; **с подобающим уважением** называл он имена не только предводителей, но **поименно обращался к илархам, лохагам и тем из чужеземных наемников, которые были известнее по званию и доблести**. В ответ ему со всех сторон понеслись крики и **требования не медлить и нападать на врага** (выделено нами — авт.)» [5, 2, 10].

Армия идет на врага совсем не так, как атаковали греки при Марафоне. Не спеша, полная сознанием своей силы и непобедимости, грозно демонстрируя застывшим в оцепенении персам весь блеск своей воинской выучки в согласованном движении тысяч людей. И эта неподвижность персидского войска лучше всяких речей показывает им, что враг уже дрогнул, он их боится. «Персам, между прочим, очень навредило тогда и это долгое стояние в полном вооружении, и страх, обычный в виду грозной опасности, но не тот, который возникает сразу, внезапно, а тот, который уже задолго овладевает душой и поработывает ее» [5, 3, 11].

Что именно говорил Александр, обращаясь уже ко всему войску, точно неизвестно, но вполне понятно, что обращением по имени к простым

воинам, отличавшимся доблестью, он будил в остальных стремление подражать им, чтобы добиться в будущем лестного внимания царя.

Квинт Курций Руф (I в.) приводит примерное содержание речей Александра к войску в битве при Иссе: **«Объезжая ряды, он обращался к воинам с разными речами, соответственно чувствам каждого. Македонцам**, победителям в стольких войнах в Европе, отправившимся не только по его, но и по своей воле покорять Азию и самые дальние страны Востока, он напомнил об их древней доблести. Они, мол, прошедшие по всему миру в пределах пути Геркулеса и Отца Либера, покорят себе не только персов, но и все остальные народы: Бактрия и Индия станут македонскими провинциями. Те, что они видят теперь, — это наименьшая часть их добычи; победа откроет перед ними все. Их уделом будет не бесплодный труд на крутых скалах Иллирии и камнях Фракии, но весь Восток станет их добычей. Им почти не понадобятся мечи: всю вражескую армию, дрожащую от страха, они смогут отогнать щитами. Он говорил то о реке Гранике, то о том, сколь много городов было ими взято или сдалось на милость победителя, и напомнил воинам, что все находящееся позади них покорена ими и повержено к их ногам. Обращаясь к **грекам**, он напомнил им, что война против Греции была начата народами Персии сначала по дерзости Дария, а затем Ксеркса, потребовавших от них земли и воды, чтобы не оставить сдавшимся ни глотка из их источников, ни привычного куска хлеба. Дважды были разрушены и сожжены греческие храмы, осаждались города и нарушались все божеские и человеческие законы. **Иллирийцам** же и **фракийцам**, привыкшим жить грабежом, он приказывал смотреть на вражеское войско, сверкающее золотом и пурпуром, несущее на себе добычу, а не оружие; пусть они, как мужи, отнимут золото у этих поженски слабых народов и обменяют свои голые скалы, промерзшие от вечного холода, на богатые поля и луга персов (выделено нами — авт.) [26, III, 10].

Содержание речи довольно правдоподобно. Более всего убеждает в этом относительная грубость и простота использованных доводов и оборотов. Обращаясь к солдатам, Александр увлекает их такими вполне земными вещами как добыча, власть, обогащение. Более высокие мотивы справедливости войны не идут дальше хорошо известных каждому греку мотивов мести за надругательство над святынями в период Греко-персидских войн (правда, более чем столетней давности). В этом смысле подобные доводы — простые пропагандистские трюки, которые

опять же в силу простоты хорошо воспринимаются массовым сознанием. Что действительно в речи хорошо — так это учет различающихся интересов, требований и ожиданий этоса. Полководец обращается с совершенно разными доводами к представителям многочисленных народностей, составлявших его армию.

Александр хорошо понимал, что слово полководца не разменная монета и пользовался им чрезвычайно осмотрительно, только когда это было совершенно необходимо, сообразно с обстоятельствами. Мы никогда не слышим его речей, обращенных к войску, еще не сплоченному, не уверовавшему в себя. Здесь он совершенно следует мысли своего любимого учителя в военном деле Ксенофонта. Развернутые обращения к войскам и командному составу были реализованы только в сражении при Иссе, ввиду его значения как первого крупномасштабного столкновения с противником. Впоследствии, даже при битве при Гавгамелах (331 г. до н.э.) подобной подготовки не проводилось.

Арриан указывает, что Александр, вернувшись с рекогносцировки поля сражения, ограничился речью перед командирами; он «созвал своих военачальников и сказал им, что, что ему нечего воодушевлять их перед сражением: они давно уже воодушевлены собственной доблестью и многократно совершенными боевыми подвигами. Он просит только их всех ободрить своих подчиненных: пусть лохаг скажет солдатам своего лоха, иларх своей иле, таксиархи своим полкам, начальники пехоты каждый своей фаланге, что в этом сражении они будут сражаться не за Келесирию, Финикию или Египет, как раньше, а за всю Азию; решаться будет, кто должен ей править. Не надо ободрять их на подвиги длинными речами: доблесть у них прирожденная; надо только внушить им, чтобы каждый в опасности помнил о порядке в строю, соблюдал строгое молчание, когда надо продвигаться молча, звонко кричал, когда потребуется кричать; издал самый грозный клич, когда придет время. Пусть сами начальники стремительно выполняют приказания, стремительно передавая их по рядам, и пусть каждый запомнит, что промах одного подвергает опасности всех. А беда выправляется ревностью о долге» [5, 3, 9].

Действительно, **длинные речи перед войсками привыкшими побеждать могут только создать у солдат впечатление, что предстоит серьезная битва, что противник силен и многочислен, что командиры нервничают.** Целесообразнее в этом случае не напрягать лишний раз струны их душ, которые, подобно хорошо настроенному инструменту сами произведут требуемый звук в нужное время.

Одно появление обожествляемого солдатской массой полководца производило по знаменитому изречению Наполеона большее действие, «чем все ораторские речи». Приведенное здесь обращение к военачальникам при Гавгамелах скорее сродни современному жанру директивных указаний, руководствуясь которыми командиры в дальнейшем провели простой инструктаж с солдатами по порядку их действий в бою.

Как уже говорилось, в системе речевого воздействия на войска Александра Македонского речи перед началом сражения составляли только один из ее элементов. Не меньшее значение придавалось и речевому воздействию в ходе выполнения наименее почетных и наиболее трудоемких работ, таких как, например, осадные. При тяжелейшей осаде Тира (332 г. до н.э.) «Александр сам присутствовал при работах; показывал, что надо делать, **воодушевлял людей словом**, оделял деньгами тех, кто работал с особенным усердием, облегчая им таким образом их труд (выделено нами — авт.)» [5, 2, 18].

Серьезное значение придавалось Александром и межличностному общению с воинами, особенно с теми, о ком до него после проведенного сражения было весьма мало попечения у полководцев того времени. После битвы при Гранике Александр сам обошел всех раненых, «осмотрел раны; **расспросил, как кто был ранен, и каждому дал возможность и рассказать о том, что он сделал, и похвастаться** (выделено нами — авт.)» [5, 1, 17]. И это был не единичный случай, вызванный желанием добиться популярности. После битвы при Иссе Александр, страдая от раны мечом в бедро, все же нашел в себе силы первым делом обойти раненых.

Не меньшее внимание уделялось и тем, кому уже не нужны были никакие речи. Однако павших македонцы хоронили торжественно, «в присутствии всего войска, выстроенного во всем блеске, как для сражения» [5, 2, 12], с оружием и почестями. Похороны воинов с оружием были, по причине его высокой стоимости, делом исключительным в греческой воинской практике. Щиты, например, вообще переходили из поколения в поколение. В далеком заморском походе следовать традиции, естественно, не представлялось возможным, но и этот факт был умело обращен на пользу. Доспехи, как представляется, хоть немного прикрывали ужасные раны погибших, что делало зрелище смерти (да и само совлечение доспехов с тел убитых товарищей) не столь деморализующим для оставшихся в живых. Стоит упомянуть о том, что для представителей элиты войска — гетайров, погибших в сражениях, царь на свой

счет заказывал медные статуи знаменитому скульптору, который ваял и царские изображения. Родители и дети погибших освобождались в Македонии от уплаты налогов и обязательных работ.

Система неукоснительного поощрения отличившихся касалась всего войска. После Иссы, например, «он (Александр — авт.) воздал в речи хвалу всем, чьи подвиги в сражении он видел сам или о чьих был слышан со стороны и почтил денежным подарком каждого по чину» [5, 2, 12]. Так как македонский царь всегда присутствовал в самых трудных местах сражения, «сам принимая живое участие в деле и в то же время **наблюдая, кто отличился блистательной отвагой** (выделено нами — авт.)», между македонцами всегда было «великое соревнование в храбрости: кто первый взойдет на стену». Благодаря этому история донесла до нас имена Адмета, первого ворвавшегося в Тир, и Неоптолема, таким же образом отличившегося при штурме Газы. Помимо моральных стимулов Александр умело применял и материальные. Так, подойдя к неприступной крепости на Согдийской Скале, гарнизон которой с хохотом посоветовал ему найти крылатых воинов для ее захвата, Александр назначил первому из своих воинов, взошедшему на Скалу, 12 талантов и так далее, последнему полагалось 300 дариков. «Это заявление еще больше подстрекнуло македонцев, которые и так рвались в бой» [5, 4, 18]. Тем не менее Александр никогда не покупал подвигов воинов, понимая, что никакие награды не заставят человека жертвовать жизнью, если его ведет не боевой дух и желание победить.

В армии Александра мы видим как бы две ступени воинской иерархии, о существовании которых теперь часто забывают командиры и начальники: первая ступень это официально назначенный командный состав, вторая — лучшие, опытнейшие, храбрейшие «простые» воины. Первым обычно достаются звания, награды, продвижение по службе, удел вторых — вся тяжесть боя и похода, раны, увечья, болезни и смерть. Генералом может стать далеко не каждый солдат, как бы он об этом не мечтал, но вот быть отмеченным верховным вождем, а значит стать почти на один уровень с начальником, может и должен стремиться каждый. Это и есть основа воинской чести «простого» солдата, обращение к которой исторгало из тысяч сердец грубых македонских воинов единодушное *требование* (!) вести их в бой.

Забота о войске у Александра всегда, однако, сочеталась с точно отмеренным расчетом ее целесообразности и пользы общему делу. Так после первых побед над персами царь счел возможным отправить в отпуск

на родину воинов, которые женились перед самым походом, дав им возможность провести зиму (время, когда боевая активность традиционно шла на спад), с женами. Эти же «молодожены» выступили своеобразными рекрутерами пополнения среди населения Греции и Македонии. Красочные рассказы очевидцев сослужили важную службу: на протяжении всего похода армия не испытывала нужды в людях, поскольку пополнения приходили регулярно. Сам факт присылки «отпускников» лучше любых победных реляций свидетельствовал, что дела в войске идут прекрасно.

Александр умел разговаривать не только со своим войском. Общей цели — внушению страха и подавлению воли врага к сопротивлению служит и переписка с Дарием, выполненная фактически в жанре ультиматума. В ответ на письмо персидского царя, в котором тот предлагает Александру стать союзниками и вернуть семью, захваченную в плен после Иссы, дается полный силы, уверенности и высокомерия ответ: «Я пошел на тебя войной, потому что враждебные действия начал ты. Я победил в сражении твоих сатрапов, а теперь тебя и твоё войско, и владею этой землей, потому что боги отдали её мне. Я забочусь о твоих людях, которые, уцелев в сражении, перешли ко мне; не против своей воли остаются они у меня, а добровольно пойдут воевать вместе со мной. Я теперь владыка всей Азии; приходи ко мне. Когда ты придешь ко мне, я верну тебе, по твоей просьбе, и мать, и жену, и детей, и дам все, чего ни попросишь, все будет твоё. В дальнейшем. Когда будешь писать мне, пиши как к царю Азии, а не обращай как к равному. Если тебе что нужно, скажи мне об этом как господину над всем, что было твоим. Если же ты собираешься оспаривать у меня царство, то стой и борись за него, а не убегай, потому что я дойду до тебя, где бы ты ни был» [5, 2, 15]. В немалой степени страхом, который внушил Александр лично Дарию, объясняются случаи бегства последнего из всех битв, что и обрекало на потерю духа и бегство даже упорно до этого сражавшиеся войска персов.

Особо следует отметить важность личного примера полководца как надежное основание всей его риторики. Участие в битве стратега в первых рядах сражающихся было вообще распространенной практикой в греческом войске от Мильтиада до Эпаминонда. Поэтому многие из полководцев погибали даже в победоносных сражениях, как, например, Брасид при Амфиполе или Эпаминонд при Мантинее. Не исключением был и Александр, с горечью заметивший уставшим от похода воинам,

требовавшим отправки домой: «У меня на теле спереди нет живого места; нет оружия, которым сражаются врукопашную или издали, и которое бы не оставило на мне своих следов. Я был ранен мечом, в меня попадали стрелами из лука и с машины; много ударов нанесли мне камнями и бревнами — за вас, за вашу славу, за ваше богатство» [5, 7, 10]. Нечего удивляться, что с таким полководцем армия была непобедима. Снова обратимся к Арриану: «Как никто он мог поднять дух у солдат, обнадежить их, **уничтожить страх перед опасностью собственным бесстрашием**. С решимостью непоколебимой действовал он в тех случаях, когда действовать приходилось на глазах у всех; ему не было равных в умении обойти врага и **предупредить его действия раньше, чем мог возникнуть страх перед ним** (выделено нами — авт.)» [5, 7, 28].

\* \* \*

Подведем итоги. Несомненный успех военной риторики Александра Великого объясняется с одной стороны тем, что он был, судя по всему, достойным учеником первого классика красноречия древности Аристотеля и талантливым наследником всей великой греческой риторической традиции, начиная с Гомера. «Вообще Александр от природы был склонен к изучению наук и чтению книг. Он считал, и нередко говорил об этом, что изучение «Илиады» — хорошее средство для достижения военной доблести», — писал о нем Плутарх.

Восточная эпическая традиция даже видела в нем не столько великого завоевателя, сколько величайшего и благороднейшего в своем величии государя. Его мудрость отмечается в талмудической легенде о тяжбе между египтянами и иудеями по поводу «компенсаций» за знаменитый исход евреев (Ветхий завет, кн. Исход), выступить арбитром в которой Александру предложили во время его пребывания в Египте [1, С. 271].

С другой стороны речи Александра были обращены к профессиональным воинам. Значительную часть его армии составляли наемники, особенно это относится к греческим контингентам и «европейским варварам» (фракийцам, агрианам и т.д.). Остальные, включая собственно македонцев, могут быть отнесены к профессионалам хотя бы в силу того, что в ходе десятилетнего похода, когда им приходилось участвовать во всех видах боевых действий и сражаться с войсками десятков народов, у них были все возможности стать исключительно закаленными и опытными воинами. Для таких войск полководец это уже не

«первый из граждан», действия которого могли быть строго разобраны народным собранием, это обожаемый вождь, в образе которого сошлись для солдата и отеческие боги, и родина, и семья. Каждое слово, каждый взгляд такого вождя схватываются на лету, мгновенно передаются из уст в уста и служат неиссякаемым источником легенд о любимом начальнике. Поэтому в военных речах Александра мы видим использование исключительно *героического* пафоса.

Из всего многообразия видов военных речевых коммуникаций Александром в Персидском походе не использовалось, пожалуй, только одно: информационно-психологическое воздействие на противника (в современных терминах). Ни разу Александром не предпринималось попыток разложить армию противника изнутри, сыграть на межнациональных и межплеменных противоречиях Персидской державы, хотя Дарий, по свидетельству Арриана, пытался подкупить людей из ближайшего окружения Александра с целью его физического уничтожения.

Цели разложения противостоящей армии и военно-государственного аппарата персов царь успешно добивался, милостиво относясь к поверженным противникам. Почти все сатрапы и начальники отдельных областей и городов, добровольно изъявившие покорность македонцам, сохранили свои посты. Характер противоборства греко-македонцев и персов никогда не выходил за чисто военные рамки и не приобретал характера ожесточенного тотального противостояния. Этого великий завоеватель как раз всеми силами избегал.

Военная риторика Александра не обыгрывает в свою пользу расовые и религиозные различия сражающихся армий, не разжигает чувства ненависти к противнику. Унижение в речах целей войны со стороны персов и персидских войск не идет далее их исключительно боевых качеств. Это объясняется, по нашему мнению, далеко идущими целями государственной политики македонского царя; военное сокрушение персов было только ее начальным этапом, подчиненным значительно более грандиозным планам ассимиляции народов и государств Европы и Азии во всемирную эллинистическую империю.

Но эту задачу суждено было решить совсем другому народу.

## **Глава 4. РИМСКАЯ ВОЕННАЯ РИТОРИКА**

Римская военная риторика, ввиду необъятности исторического материала, накопленного за время существования тысячелетнего Города, будет нами характеризоваться по трем историческим периодам: времени республиканского устройства Рима, периоду гражданских войн и имперскому периоду. Такое деление позволяет в достаточной степени полно охватить все особенности устройства римского государства и его армии, которые оказывали значительное влияние на содержание и формы, в которых функционировала военная риторика римлян.

С точки зрения преемственности римская военная риторика так же является продолжением и развитием эллинистической военной риторики, как и римская культура в целом была наследницей культуры греческой. Вместе с тем она заключала в себе и свои собственные черты, которые несли на себе отпечаток народного духа и определенного исторического периода. «Рим не может быть сравниваем ни с каким народом, а Римлянин ни с каким обитателем из всех пяти частей нашего света. В лоне свободы, окруженный отовсюду памятниками собственной доблести и искусства, Рим был пантеоном чрезвычайных мужей, а Римлянин пламенел любовью к свободе в Риме, вне же онаго страстию к всеобладанию. Латинская муза пела ему его величие: «Помни, Римлянин, что ты владыка всех народов» [67, С. 7].

Эта «страсть к всеобладанию» как своеобразная основа римского менталитета не только позволила римлянам создать величайшую военную империю античности, намного превосшедшую по размерам империю Александра, но и долгое время, в отличие от македонян, питала их силы сохранять и поддерживать ее жизнеспособность.

### **4.1. Военная риторика периода Республики**

Римская военная риторика родилась, фактически, с римской историографией [43, С. 14], и событием, которое дало мощный толчок ее развитию стала тяжелейшая борьба Рима с Карфагеном, вылившаяся в три Пунические войны. Значение их для истории Рима огромно. Еще древние историки отмечали, что «римляне в течение шестисот лет после основания города в войнах с соседями не приобрели большого

могущества..., но затем вознеслись до такого могущества, что в неполные пятьдесят три года приобрели не только Италию, но и всю Ливию, а затем подчинили своей власти и иберов» [52, С. 11]. Можно сказать, что войны с Карфагеном и сделали римский народ тем народом, который оказался способным создать *Rex Romana*, послуживший основой всей западной цивилизации.

Описание событий и сопутствующих им образцов военной риторики мы будем черпать главным образом во «Всеобщей истории» Полибия (201—120 гг. до н.э.), которого во всех отношениях, несмотря на то, что он по большей части приводит только общее содержание речей, следует предпочесть Титу Ливию. Полибий хорошо знал военное дело той эпохи, был лично знаком с одним из главных действующих лиц ее — римским полководцем Публием Корнелием Сципионом Африканским; сам Ливий считал его писателем, заслуживающим «величайшего доверия». Полибий писал свою историю на основании свидетельств очевидцев и собственной реконструкции событий: «Мы говорим с уверенностью, ибо о событиях этих получили сведения от самих участников, местности в них осмотрены нами лично во время путешествия, которое мы совершили через Альпы ради изучения и любопытства» [52, С. 206]. К содержанию речей, которые приводятся им, он относился чрезвычайно пристрастно, многократно на страницах своего труда полемизируя с теми из историков, которые стремились достичь красочности и достоверности при описании событий, украшая их речами собственного изготовления. Полибий считал, что «историку ... следует довольствоваться точным по возможности сообщением того, что было действительно произнесено, да и из сего последнего существеннейшее и наиболее полезное» [52, С. 172].

Из трех Пунических войн вторая (218—201 гг. до н.э.) была, безусловно, решающей в этом бескомпромиссном противостоянии двух народов и двух военных систем. Первым боевым столкновением в ней войска Ганнибала и римской армии, возглавляемой консулом Публием Корнелием Сципионом, стало сражение при Тицине (218 г. до н.э.), которое Г. Хоуэлл достаточно пренебрежительно называет «обычной стычкой конных отрядов», послужившей, по его мнению, только прелюдией к грандиозной «трилогии уничтожения, разыгранной при Требии, Тразимене и Каннах» [69, С. 274]. Однако это было *первое* сражение, выигранное карфагенянами в ходе вторжения в Италию. Значение его трудно переоценить. Ганнибала, после потери в труднейшем походе через Альпы большей части

войска, фактически отрезанного от баз снабжения, могла спасти только серия блестящих побед, которые бы привлекли под его знамена племена кельтов и галлов и способствовали бы отпадению от Рима его италийских союзников.

Вся величина военного, организационного и, мы бы сказали, военно-педагогического гения Ганнибала становится ясной именно с этого момента, когда он был вынужден вступать в сражение с неприятелем, находившимся в своей земле, многократно превосходящим его людскими и финансовыми ресурсами, в то время как его войска были истощены как физически, так и морально, и не имели еще серьезного опыта побед над предстоящими противниками. Мало того, если иметь в виду печально закончившуюся для карфагенян 1-ю Пуническую войну, можно согласиться с Ливием который писал, что их войско **«боялось врага – память о первой войне не успела изгладиться (выделено нами – авт)»**.

Значение битвы при Тицине для последующей серии громких побед Ганнибала отчетливо сознавалось Полибием, подробность описания подготовки сторон к сражению у которого намного превосходит аналогичные места, посвященные более «громким» событиям этой войны.

Прежде всего, желая ободрить свои войска, Ганнибал устроил некое подобие гладиаторских игр. Он предложил пленникам-галатам, захваченным в альпийском походе, с которыми до этого специально обращались крайне жестоко, сразиться друг с другом с тем, чтобы завоевать себе свободу, коня и богатое вооружение. Измученные пленники все до одного изъявили желание выступить в единоборствах, чтобы победитель смог завоевать свободу, а побежденный избавиться от невыносимых страданий.

После того как бои закончились, Ганнибал обратился с речью к своим войскам.

«Когда этим способом Ганнибал вызвал в душах воинов желательное для него настроение, он выступил вперед и объяснил, с какою целью выведены были пленники: для того, говорил он, чтобы воины при виде чужих страданий научились, как лучше поступать самим в настоящем положении; ибо и они призваны судьбою к подобному состязанию, и перед ними лежат теперь подобные же победные награды. Им предстоит или победить, или умереть, или живыми попасть в руки врагов, но при этом победными наградами будут служить для них не лошади и плащи, но обладание богатствами римлян и величайшее блаженство,

какое только мыслимо для людей. Если они и падут в битве, сражаясь до последнего издыхания за лучшие свои стремления, то кончат жизнь как подобает храбрым бойцам без всяких страданий; напротив, если в случае поражения они из жажды к жизни предпочтут бежать или каким-нибудь иным способом сохранить себе жизнь, на долю их выпадут всякие беды и страдания. Ибо, говорил он, нет между ними такого безумца или глупца, который мог бы льстить себя надеждою возвратиться на родину бегством, если только они вспомнят длину пути, пройденного от родных мест, множество отделяющих их неприятностей, если они помнят величину рек, через которые переправлялись. Потому он убеждал воинов отказаться всецело от подобной мечты и настроить себя по отношению к своей доле совершенно так, как они были только что настроены видом чужих бедствий. Ведь все они благословляли одинаково судьбу победителя и павшего в бою противника его; те же чувства, говорил он, должны они испытывать и относительно себя самих: все должны идти на борьбу с тем, чтобы победить или, если победа будет невозможна, умереть. О том, чтобы жить после поражения, они не должны и думать. Если таковы будут намерения их и помыслы, за ними наверное последуют и победа, и спасение. Никогда еще, продолжал вождь, люди, принявшие такое решение добровольно или по необходимости, не обманывались в своих надеждах одолеть врага. Пускай неприятели, как теперь римляне, питают противоположную надежду, именно, что большинство их найдет свое спасение в бегстве благодаря близости родины; зато несокрушима должна быть отвага людей, лишенных такой надежды» [52, С. 219].



Рис. 7. Ганнибал

Перед нами типичный пример речи на тему «Победа или смерть!». Заслуживает внимание тонкое понимание полководцем психологии варварских, полудиких, по сути, народов и племен, слагавших его войско. Для людей, стоящих на не слишком высокой ступени развития, многократно возрастает значение образной, убеждающей силы примера. Тем более, если этот пример задействует и зрительный канал, что умело и предельно реалистично продемонстрировал Ганнибал. Выражаясь

современным языком, он психологически точно смоделировал ситуацию сражения. Для кельтов и галлов, превыше всего ценивших воинскую доблесть и силу, эти кровавые поединки были своеобразным «наркотиком», подстегнувшим их естественную агрессивность.

Речи оратора предшествует создание «желательного для него настроения» войска, которое заключалось в осознании каждым воином альтернативы в предстоящем сражении. С этой же целью Ганнибал намеренно сгущает краски, приводит войска в состояние мрачного ожесточения, памятуя о том, что «загнанные в угол» люди сражаются до последнего. Весьма характерно, что материальные интересы в этом случае должны отступать на задний план; Ганнибал только вскользь упоминает о богатствах римлян, которые станут достоянием победителей. Не забыт и момент унижения противника, якобы трусливо предрасположенного к бегству.

Речь Ганнибала и приведенный им пример были встречены толпою сочувственно, отмечает Полибий; «она восприняла то чувство решимости, которое Ганнибал старался пробудить в ней своим обращением».

Чтобы усилить воздействие на слушателей Ганнибал впоследствии, по Ливию, выступил перед войском еще с одной речью, в ходе которой в избытке расточал воинам обещания земли в собственность, союзникам — карфагенское гражданство, рабам — свободу. Речь он заключил устрашающей кровавой клятвой, размозжив камнем голову жертвенного ягненка и обратившись к богам с просьбой сделать то же самое с ним, если он не сдержит своих слов. Факт произнесения полководцем подобной речи представляется совершенно невероятным, ибо представляет собой опасное заигрывание с войсками и унижительную попытку купить их мужество. Если добавить, что при этом карфагенинин обращается, почему-то к Юпитеру, который никоим образом не входил в пантеон пунийских богов, то становится понятным, что авторство ее принадлежит, скорее всего, самому Ливию.

Речь Сципиона, обратившегося перед сражением к римским воинам, проигрывает вышеприведенной по многим показателям. «Большая часть речи посвящена была прославлению отечества и подвигов предков. О тогдашнем положении он сказал приблизительно следующее: нет нужды испытывать неприятеля в настоящем для того, чтобы питать непоколебимую уверенность в победе; достаточно знать одно, что им предстоит сражаться с карфагенинами. Вообще решимость карфагенин идти на римлян должно считать необычайною наглостью,

так как много раз они терпели поражение от римлян, заплатили большую дань и уже столько времени были чуть не рабами их. «Если, не говоря о прошлом, мы знаем по опыту, что и стоящий против нас неприятель не дерзает глядеть нам прямо в лицо, чего следует нам ждать от будущего при верной оценке положения? Разве вы не знаете, что карфагенская конница не вышла с честью из столкновения с нашей у реки Родана; что с большими потерями она бежала позорно до самой стоянки? Вождь их вместе со всем своим войском при известии о прибытии наших воинов перешел в отступление, походившее на бегство, и из страха, вопреки собственному решению, направился через Альпы». «И теперь», говорил Публий, «Ганнибал явился к нам, потеряв большую часть своего войска; а уцелевшие воины вследствие перенесенных лишений обессилены и не пригодны к битве. Точно так же потерял он и большую часть лошадей, да и оставшиеся ни к чему не годны после столь длинной и трудной дороги». Эту речь Публий старался внушить римлянам, что им стоит только показаться перед неприятелем. Больше всего должно ободрять вас, продолжал он, его присутствие. Ни за что не покинул бы он флота и не отказался от того дела в Иберии, ради которого был послан, не явился сюда с такою поспешностью, если бы не рассчитал до очевидности всю необходимость для родины такого способа действий, который к тому же обещает верную победу» [52, С. 220].

Полибий отмечает, что эта речь воодушевила воинов, вследствие того доверия, какое они питали к своему полководцу. Однако, вместе со всеми правильными словами о славе отечества и памяти о предках эта речь, главным образом (как пишет и Полибий), представляет собой типичное «увещание», т.е. убеждающую речь, об ограниченной ценности которой для целей военной риторики мы уже писали. Главный же недостаток речи заключается в том, что она, фактически, расхолаживает войска перед сражением. Больше всего места речь уделяет показу слабости противника, причем его мотивы низводятся до «наглости», чувства бессмысленного и никак уж не могущего лежать в основании действий целой армии. Внушение войскам такого «шапкозакидательного» настроения чревато деморализацией в случае неожиданной неудачи, особенно, если неудачи начинают преследовать армию. Сципиону следовало бы не чрезмерно рассчитывать на собственные силы, но понять, что противник, не обратившийся немедленно в бегство при его приближении, очевидно, имеет какие-то планы и расчеты, кроме самоубийства, и

учесть это, обратив внимание солдат на то, что зверь, прижатый к стене, всегда сопротивляется отчаянно.

Такая безрассудность Сципиона в какой-то степени может объясняться тем, что он сам находился на посту всего восемь месяцев [57, С. 77], сам Ганнибал, по Ливию, называл его «шестимесечным начальником» [64, XXI, 43], но то, что он обращался таким образом к молодым, неопытным воинам, еще не прошедшим боевого крещения, только усугубляло положение.

Ряд тяжелых поражений при Тицине, Требии и Тразименском озере, однако, показал только всю силу духа римлян. Они смогли собрать значительную армию, численность которой по разным подсчетам колебалась в пределах 80 000 пехоты и около 6 000 конницы, что практически вдвое превосходило наличные силы Ганнибала. «Общий порыв и усердие, с каким велось дело, были беспремерны», — замечает Тит Ливий (64, XXII, 36).

Тогда же, судя по всему, родился новый для античности речевой жанр военной присяги. Отчетливо осознавая нависшую опасность, римляне «набрали великое множество людей; *приводили к присяге* даже отпущенников призывного возраста, имевших детей (*курсив наш* — авт.)» [64, XXII, 11]. Римский историк отмечает всю необычность события для того времени: «Тогда военные трибуны *привели воинов к присяге*, чего раньше никогда не бывало. Ведь до того времени солдаты давали лишь клятву, что по приказу консула соберутся и без приказа не разойдутся, а потом в собравшемся уже войске они — всадники по декуриям, пехотинцы по центуриям — добровольно клялись друг перед другом в том, что страх не заставит их ни уйти, ни бежать, что они не покинут строй, разве только чтобы взять или поискать оружие, чтобы поразить врага или спасти согражданина. Этот договор, которым они сами себя добровольно связывали, и превратился в узаконенную присягу, которую давали перед трибунами (*курсив наш* — авт.)» [64, XXII, 38].

Основываясь на определении слова «клятва» как «торжественного утверждения, уверения, подкрепленного упоминанием чего-нибудь священного, ценного, авторитетного» (Толковый словарь Д. Н. Ушакова), можно сделать вывод, что первично военная присяга состояла из договора между воинами и государством (командованием) добровольно нести все обязанности военной службы, освящаемого, очевидно, призыванием имен богов, ларов и пенатов.

К одному из величайших в мировой военной истории сражению при Каннах (216 г. до н.э.) обе стороны подходили, вполне понимая важность предстоящей схватки и всего того, что было поставлено на карту. Ганнибалу, в достаточной степени измотанному осторожной тактикой Фабия Кунктатора, была абсолютно необходима очередная блестящая военная победа, которая бы стала бы решающим толчком, спровоцирующим массовое отпадение от Рима его еще колеблющихся союзников. Римское государство, в свою очередь, было уже не в состоянии следовать тактике Фабия и позволять карфагенянам относительно безнаказанно разорять свои земли, имея в виду дурной пример собственной слабости для все тех же союзников. Таким образом, в предстоящем сражении обе стороны преследовали решительные цели.

В то же время сам факт употребления для одного сражения практически всех наличных сил говорил о том, что римляне, по словам Полибия, «находились в таком страхе за будущее» [52, 3, 107], что решились, идя по пути «наименьшего сопротивления», задавить противника числом, не заботясь более о качестве подготовки своих войск. Такой подход всегда косвенно свидетельствует об определенном смятении духа военного и государственного руководства. Это решение было прямо противоположно прежнему, более правильному, когда консулы Луций Эмилий Павел и Гай Теренций Варрон предписывали проконсулу Гнею Сервилию, чтобы он «возможно чаще давал самые жаркие мелкие схватки и тем упражнял бы новобранцев и подготавливал к решительным битвам» [52, 3, 105]. Однако после захвата Ганнибалом городка Канна, где у римлян хранились значительные запасы продовольствия и военного имущества, столкновение стало неизбежным.

Прибыв к войску, Луций Эмилий Павел считал необходимым приподнять боевой дух войск речью, большая часть которой была посвящена объяснению причин постигших римлян военных неудач. «Они до такой степени напугали массу воинов, — замечает Полибий, — что слово ободрения было необходимо». К сожалению, это ободрение реализовано было в привычном для римских полководцев рассматриваемого периода жанре «увещания».

«До сих пор, говорил Луций, никогда еще оба консула не стояли вместе во главе сражающихся легионов, в дело употреблялись войска необученные, новобранцы, незнакомые с опасностями; кроме того, — что самое важное, — римляне до сих пор так мало знали своих противников, что, почти не видя их, строились в боевой порядок и шли

в решительные битвы. «Так, разбитые у реки Требии войска только накануне прибыли из Сицилии, а на рассвете следующего же дня выстроились против неприятеля. Потом, сражавшиеся в Тиррении не только до битвы, но даже в самой битве не могли видеть неприятеля по причине пасмурной погоды. Теперь все совершенно иначе. Так, мы оба при вас, и не только сами будем делить с вами опасности, но мы достигли того, что и консулы прошлого года остаются на поле битвы и будут участвовать в сражениях вместе с нами. С другой стороны, вы не только знаете вооружение, строй, численность неприятелей, вы второй год уже чуть не каждый день сражаетесь с ними. Таким образом, теперь у нас все противоположно тому, как было в прежних битвах; поэтому нужно ждать, что и исход борьбы будет на сей раз совершенно иной. Было бы несообразно, даже невозможно, чтобы вы, выходя большею частью победителями из легких схваток при равенстве ваших сил с неприятельскими, были побеждены теперь, когда мы идем против неприятеля все вместе, и силы наши превосходят неприятельские больше чем вдвое. Когда, граждане, имеется все нужное для победы, требуется еще одно только — ваша добрая воля и усердие; но говорить вам об этом пространно я нахожу излишним. Подобный способ увещания бывает необходим в тех случаях, когда обращаются к людям, состоящим на службе у других за жалованье, или к таким, кои согласно уговору должны сражаться за союзников, для коих битва представляет величайшие опасности, а последствия ее маловажны; напротив, если предстоит борьба, как вам теперь, не за других, а за самих себя, за свою родину, жен и детей, если последствия борьбы имеют гораздо большее значение, нежели самые опасности ее, тогда нет нужды в увещании, достаточно напоминания. И в самом деле, кто не желает больше всего победить в борьбе? Если же это невозможно, кто не пожелает скорее пасть в бою, чем остаться в живых и видеть близких своих жертвами насилия и гибели? Вот почему, граждане, вы и без моих речей ясно понимаете разницу между поражением и победой, а равно последствия их; поэтому идите в битву с мыслию о том, что отечество борется не за легионы только, но за самое существование свое. Если настоящая борьба кончится как-нибудь иначе, отечество не имеет других сил сверх этих для одоления врага. В вас вложило оно всю свою ревность и мощь; на вас покоятся все надежды его на спасение. Оправдайте эти надежды, докажите преданность отечеству, какая ему подобает, покажите всем народам, что прежние поражения произошли не от того, что

римляне уступают будто бы карфагенянам в доблести, но от неопытности сражавшихся тогда воинов и от случайных обстоятельств» [52, 3, 108-109].

Самое неудачное в речи — многократные напоминания войскам о понесенных ранее, хоть и не ими, но такими же римлянами, поражений, воскрешающие в памяти воинов все их страхи и сомнения. Апелляция к случайности после стольких поражений вряд ли целесообразна; невольно приходит на ум меткое замечание А.В. Суворова: «Раз счастье, два счастье, помилуй бог, надобно и умение».

Сомнительную ценность имеет подробный разбор причин прошлых поражений. Такая очевидная причина как недостаточная обученность римского войска способна только вызвать вопрос: почему же в таком случае командование бросало новобранцев в бой, что автоматически порождает сомнение в его, командования, компетентности. Не добавляет уверенности и упоминание о том, что консулы прошлого года (т.е. то самое командование, которое и привело римлян к поражениям) находится по-прежнему на своих постах и ведет войска в новую битву. Значительно полезнее было бы, на наш взгляд подробно остановиться на том, что весь римский народ поднялся на борьбу с захватчиками. Тем более что так оно и было. Тит Ливий приводит цифры павших в битве представителей высшего сословия: два консульских квестора, двадцать девять военных трибунов, несколько бывших консулов, бывших преторов и эдилов; убито было восемьдесят сенаторов и бывших должностных лиц, которые должны были быть включены в сенат. Самое главное, что «люди эти добровольно пошли воинами в легионы» [64, XXII, 49]. Такого рода «единство армии и народа» всегда очень воодушевляющее действует на войска.

Достаточно традиционно использование в такого рода речах (перед сражениями, ведущимися за родину, на своей территории) *патриотического* пафоса, упоминание о семьях, родных и близких, единственными защитниками которых являются воины, что отмечал еще Фукидид. Но здесь это, к сожалению, только «напоминание», лишенное силы и риторического блеска. Один из главных опорных моментов в речи совершенно не разработан оратором. Это одна из главных ошибок начинающих ораторов вообще. То, что кажется им очевидным, они полагают настолько же очевидным и для своих слушателей, забывая о том, что **общие места (топы) должны быть опорными точками убеждающего и, особенно, вдохновляющего речевого воздействия. Топы**

**не требуют напряженного осмысления, не вызывают такой интеллектуальной радости как изящные силлогизмы, но истинность их принимается и разделяется всеми слушателями, что делает возможной применение при их использовании стилистических фигур и тропов, многократно усиливающих эмоциональное воздействие речи.** Впрочем, два риторических вопроса в этом месте все же присутствуют, что позволяет предположить, что оратор все же попытался как-то «обыграть» приведенное выше правило.

Достигло ли цели это «увещание» — непонятно. Полибий, однако, никак не комментирует результат воздействия речи консула, хотя в других случаях обязательно упоминает об этом.

Согласно поговорке, талантливый человек талантлив во многом. В полной мере это может быть отнесено и к речи Ганнибала к карфагенянам перед Каннами. Необходимость ободрения войска было вызвано еще и досадным поражением пунийцев в небольшой стычке накануне битвы. Это был, конечно, булавочный укол по сравнению с поражениями римлян в трех крупных битвах до этого, но Ганнибал не мог позволить, учитывая огромный численный перевес врага, и малейшего падения боевого духа своих войск перед решающим сражением.

Прежде всего, «когда воины собрались, Ганнибал предложил всем им бросить взгляд на окрест лежащие страны и затем спросил: о чем при настоящих обстоятельствах они могли бы больше всего молить богов, как не о том, чтобы, если можно, дать неприятелю решительную битву в такой местности, как эта, при значительном превосходстве их конницы над неприятельскою? Последовало всеобщее одобрение, потому что дело было совершенно ясно. «Поэтому, — сказал вождь, — прежде всего возблагодарите богов; ибо, уготовляя нам победу, они завели неприятеля в такие места. Потом благодарите и нас за то, что мы довели неприятеля до необходимости принять битву, ибо он не может более уклониться от нее и вынужден принять сражение в условиях, бесспорно выгодных для нас. Но, мне кажется, не подобает теперь обращаться к вам с пространною речью, ибо вы бодры духом и горите желанием боя. Пока в борьбе с римлянами вы были неопытны, я должен был это делать; тогда я держал к вам пространные речи, изобилующие примерами. Теперь, когда в трех столь важных сражениях, следовавших одно за другим, вы одержали решительные победы над римлянами, неужели какая-либо речь способна поднять дух ваш сильнее, чем самые подвиги ваши? Благодаря предшествующим победам вы вступили в обладание

этими полями и благами их, и все, что мы обещали вам в своих речах, оправдалось вполне; теперь предстоит борьба за города и их достояние. С победою в этой битве вы тотчас станете господами целой Италии; одна эта битва положит конец нынешним трудам вашим, и вы будете обладателями всех богатств римлян, станете повелителями и владыками всей земли. Вот почему не нужно более слов — дела нужны; ибо, с соизволения богов, я убежден, что вскоре исполнятся мои обещания» [52, 3, 111].

Опять перед нами театрализованное представление, начатое наверняка эффектным жестом, предлагавшим собравшимся осмотреть окрестности. Затем следует приглашение согласиться с первой мыслью, высказанной оратором. Поскольку с этой мыслью, ввиду ее очевидности невозможно не согласиться, доверие к оратору в последующей части речи и мыслям, высказанным в ней, можно считать обеспеченным. К тому же простодушные «варвары» Ганнибала, значительную часть которых составляли африканские народы, получили возможность и покричать, и подвигаться; подобно детям в единодушном «правильном» ответе почувствовать радость от своей правоты, значимость своего мнения, которое совпадает, оказывается, с замыслом полководца. Такое обращение, инициирующее видимость диалога со слушателями, активизирующий процесс самого слушания, совершенно новый и необыкновенный прием в истории военной риторики.

Далее речь Ганнибала удивительно похожа на речь Александра Македонского при Гавгамелах. То же подчеркнутое немногословие. Та же демонстрация безграничной уверенности в себе и своих войсках. Отсутствие даже намёка на трудности предстоящей борьбы. И вся речь замечательно ориентирована на победу. Само слово «победа» встречается в тексте 4 раза а скрытых упоминаний о ней и того больше. Победа — ключевое слово этой короткой речи. И ни слова о досадной неудаче, даже нет упоминания о случайности ее. Для сравнения слово «поражение» и упоминание о нем и его возможных последствиях в речи Луция встречается 7 (!) раз. После такой речи войско может оказаться способным к героической смерти на поле брани, что и продемонстрировали римляне под Каннами, но к победе — никогда.

Неудивительно, как прилежно отмечает Полибий, что «войско выразило ему (Ганнибалу — авт.) горячее сочувствие». Ганнибал не забыл и похвалить и поблагодарить воинов за усердие, как бы реализуя педагогический прием авансирования личности.

Надо сказать, что в сфере военной риторики, как и в других областях знания, римляне поразительно быстро учились у своих противников. Основанием этой способности была почти сверхъестественная стойкость народного духа, проявлявшаяся в часы самых тяжелых испытаний. После каннского разгрома, когда заколебались и начали отпадать казалось бы самые надежные из союзников, когда «в солдаты брали юношей, начиная от семнадцати лет, а **некоторых и моложе** (выделено нами — авт.)» [64, XXII, 57], римляне нашли в себе силы духа отказаться от выкупа пленных соотечественников, захваченных Ганнибалом, давая тем самым понять согражданам, что предстоит борьба не на жизнь, а на смерть (прил. 2). Навстречу уцелевшему в битве консулу Варрону, «главному виновнику страшного поражения, вышли представители сословий и **благодарили его за то, что он не отчаялся в государстве (!)** (выделено нами — авт.)» [64, XXII, 61]. Этим шагом народ как бы снимал с военачальников страшную ношу ответственности, грозящей в случае возможных последующих неудач. Про Варрона Ливий не без основания замечает, что «будь он вождем карфагенян, не избежать бы ему страшной казни» [там же].

Постепенно изменился и слог речей римских полководцев. Так Клавдий Марцелл, ободряя солдат в первом победном для римлян сражении с Ганнибалом при Ноле (215 г. до н.э.), говорит энергичным солдатским языком, веля «налечь на врага, побежденного позавчера, бежавшего от Кум несколько дней назад, отброшенного им от Нолы в прошлом году; войско было другое, но командовал он же. У врагов, говорил он, не все в строю; иные разбрелись и грабят, а те, кто сражается, расслаблены кампанской роскошью; они за долгую зиму растратили на выпивки и на девок все свои силы. Нет у них прежней свежести, пропала та мощь и тела, и духа, что преодолела и Альпы, и Пиренеи. Остатки прежних мужей, сражаясь, с трудом держат оружие, едва держатся на ногах. Капуя оказалась для Ганнибала Каннами: там истощилась воинская доблесть, там пришел конец войсковому порядку и повиновению, там заглохла старая слава, там угасла надежда на будущую» [64, XXIII, 45]. «Так, ругая врага, — отмечает Ливий, — Марцелл поднимал дух своих воинов» [там же].

Поднимал он дух воинов тем более успешно, что противник действительно во многом утратил свои превосходные боевые качества за время долгого отдыха. Их, как истинных «варваров», погубили неожиданно свалившиеся удобства, богатство и неумеренная страсть к наслаждениям.

Ливий пишет, что после зимовки к Капуе Ганнибал вышел словно бы с новым войском, которым «словно новобранцам, **недостало ни душевных, ни телесных сил** (выделено нами — авт.)» [64, XXIII, 18]. Это используется римским полководцем для того, чтобы вызвать презрение к противнику; действительно, какой воин из морально разложившегося человека?

Марцелл умело воскрешает в памяти воинов и победы над врагами даже в незначительных стычках, не могущих, конечно, изменить ход войны, но могущих поднять дух уставшего от поражений войска. Речь, всецело нацеленная на победу, и принесла столь важную для римлян победу.

И на другом континенте, почти у стен теперь уже Карфагена в битве при Заме (202 г. до н.э.) мы видим совершенно другие войска и слышим совершенно другие речи. «Публий (Публий Корнелий Сципион — сын сражавшегося при Тицине и Требии — авт.) обходил ряды и обращался к воинам с краткими подобающими случаю речами. Так, он просил их во имя прежних битв показать себя и теперь доблестными воинами, достойными самих себя и отечества, и живо памятовать, что победа над врагом не только прочно утвердит власть их над Ливией, но стяжает им и государству их неоспоримую власть и главенство над целым миром. Если же битва кончится несчастливо, павшие в честном бою воины найдут себе в смерти за родину прекраснейший памятник, а бежавшие с поля трусы покроют остаток дней своих позором и бесчестьем. Ибо нигде в Ливии беглецы не найдут для себя безопасного пристанища, а всякого, попавшего в руки карфагенян, ждет участь, которую легко угадает каждый здравомыслящий человек. «Никому бы я не пожелал, — продолжал Публий, — на себе испытать эту участь! Итак, когда судьба обещает нам великолепнейшую награду, победим ли мы, или ляжем мертвыми, неужели мы покажем себя низкими глупцами и из привязанности к жизни отринем лучшее благо и примем на себя величайшие беды». Посему Публий убеждал римлян идти с двояким решением, победить или умереть, а такая решимость, заключил он, всегда неизбежно ведет к торжеству над врагом, потому что люди идут в битву без страха потерять жизнь» [52, 15, 10].

Противники словно бы поменялись местами, если сравнить речи их полководцев перед сражением при Тицине. Правда в речи молодого Сципиона еще слышится неистребимая страсть высокопоставленного римского чиновника [68, С. 268] к убеждению своих слушателей, но уже значительно больше силы и определенности, учитывающей

особенности текущего момента. Слово «победа» по частоте употребления (3 раза) приближается к тому, чтобы считаться ключевым словом речи; упоминание о возможном поражении допущено с тем только, чтобы ярко показать невозможность спасения. В общем, «победа или смерть», как и в речи Ганнибала перед Тицином.

Напротив, вся речь Ганнибала это сплошное «убеждение» своих италийских ветеранов вспомнить о прошлых победах. Довольно жалким выглядит аргумент, что врагов уже не так много как в битве при Каннах. **Речь полководца — всегда отражение состояния его духа. Только обладая сильным и бодрым духом, он может способствовать эмоциональному «заражению» войска, без чего немыслим успех какого бы то ни было речевого воздействия на массы.** Уже то, что великий полководец «настойчиво просил и убеждал» собственные войска, с которыми он ходил военными дорогами в течении 17 лет, говорит о падении духа не только войск, но и самого военачальника. В речи Ганнибала не использовано ни одного сколько-нибудь сильного риторического приема; она производит впечатление, что ее автор находился на грани отчаяния. От прежнего блестящего военного оратора мы видим только прием обращения к войскам, когда он предлагает удостовериться своим воинам в относительной малочисленности неприятеля. Однако, сам по себе, лишенный внутренней силы и развития, прием уже не производит такого впечатления как аналогичный ему в битве при Каннах.

Весьма характерный факт того, что Ганнибал не позаботился охватить речевым воздействием наемников, стоявших в первой линии, а ограничился только собственными ветеранами, свидетельствует, на наш взгляд, о своеобразном «перерождении» полководца, превратившегося то ли вследствие усталости от бесконечных войн, то ли в силу других причин, в типичного пунийского аристократа, для которого люди (особенно наемники) всегда были лишь разменной монетой. Скарденность, торгашеский дух пунийцев, предпочетших после первой войны с Римом истребить около 40 000 собственных ливийских наемников, лишь бы не платить последним, отмечается всеми древними историками и современными исследователями. Очевидно, что-то подобное двигало и Ганнибалом, когда он выставил наемные войска в качестве живого щита: чем больше их погибнет — тем меньше придется платить. Итог сражения закономерен — фактически повторение Канн, но только уже для карфагенян.

\* \* \*

Военную риторику римлян во время 2-ой Пунической войны как наиболее яркого образчика войн периода республиканского устройства римского государства можно во многом уподобить военной риторике греков периода Пелопоннесской войны. Все те же вооруженные граждане, все те же избираемые народом полководцы. Этими обстоятельствами, а также тем, что греческая риторика в Риме еще не успела достаточно широко распространиться и объясняется тот факт, что римские полководцы еще не заговорили с солдатами «военным языком». Между тем, преимущество военных профессионалов сказывалось и тут. В сражении при Заме, например, 12 000 карфагенских наемников, стоявших в первой линии, ясно показали свое превосходство над римскими ополченцами: «перевес был на стороне наемников, благодаря их ловкости и отваге, и многие римляне были ранены» [52,15, 12].

Благополучный, в конечном счете, для Рима исход войны был обусловлен, прежде всего, превосходством системы патриотического воспитания римлян, которая возбуждала «большую ревность в юношестве» [52, 6, 52]. Римское государство целенаправленно, всей системой государственных институтов воспитывало граждан, которые были готовы вынести все, лишь бы пользоваться в отечестве славой доблестных мужей. Причем достигалось это, в отличие от жестокой нивелировки личности, принятой в спартанской системе воинского воспитания, развитием в юношестве благородного славолубия, основанного на поддержке уважения к родовым, семейным ценностям, памяти славных деяний предков. Любовь римлян к предкам, простиравшаяся до включения их в пантеон частных, домашних богов-ларов, использовалась и в воспитательных целях. Так, изображение предка, утратившего по каким-либо причинам честь, закрывалось и могло быть опять открыто только ввиду экстраординарных заслуг других членов семьи или его потомков. «Поэтому если иногда римляне и терпят крушение вначале,... римляне тем не менее благодаря доблестям граждан имеют перевес над противником в общем ходе войны», — указывал еще Полибий [52, 6, 51].

Это воспитание делало взывание к воинской чести и славе отечества (т.е. в том числе и отцов-предков) в речах полководцев не пустым звуком для сердца каждого римлянина и придавало большую силу *патриотическому* пафосу римской военной риторики периода Республики.

Всех этих преимуществ были лишены карфагеняне и Ганнибал. Тем более достойно удивления то, что он мог в течение стольких лет и стольких

битв удерживать в повиновении и поддерживать боеспособность своего не только разноплеменного, разноверного, но и разноязычного войска. Военная риторика Ганнибала дает блестящие образцы понимания психологии солдата, наемника, «варвара», живущего войной и военной добычей, весьма далекого от каких бы то ни было «идей». Готовясь к битве при Требии, например, Ганнибал лично ставил задачи каждой части своего войска, не забывая при этом и войска и их начальников напутствовать «ободряющей речью». Во многом этой риторике обязан Ганнибал тому, что на протяжении всей войны он неизменно побуждал «разнообразные и многочисленные народности следовать единому приказанию, покоряться единой воле, при всем непостоянстве и изменчивости положений, когда судьба то весьма благоприятствовала ему, то противодействовала» [52, 11, 19]. Тем не менее война показала, что никакой военный гений не может рассчитывать на успех в войне с народом, воинский дух которого стоит на такой высоте, что народ скорее допустит гибель своих граждан, попавших в плен к неприятелю, чем пойдет на умаление чести отечества.

## 4.2. Военная риторика периода гражданских войн

Через Пунических войн, сокрушение эллинистических государств наследников империи Александра Македонского «определили участь Рима как всепобеждающей и цивилизующей силы и сделали Рим ведущей державой античного мира» [68, С. 406]. В силу непреложных законов общественного развития величайшие изменения в мире, произошедшие в связи с распространением влияния Рима за пределы собственно Италии, не обошли стороной и сам Рим, и все стороны жизни *populus Romanus*.

Начиная с военных реформ царя Сервия Туллия, все римские граждане делились по имущественному признаку на 6 разрядов, первые пять из которых были призваны нести военную службу в римском войске и являться каждый со своим комплектом вооружения. Последний разряд, состоявший из неимущих граждан и вольноотпущенников, не считали достойным доверия защищать государство, к которому они не были привязаны прочными узами собственности и общими экономическими интересами.

Впоследствии государство взяло на себя заботу по обеспечению воинов вооружением и небольшой платой, размер которой позволял

легионеру прокормиться и обеспечить себя самым необходимым. Это денежное содержание, однако, не оставляло свободных средств для того, чтобы скопить хотя бы небольшую сумму, необходимую для обзаведения земельным участком, который бы кормил воина после окончания службы по старости или дальнейшей непригодности вследствие полученных ран и увечий. Римское крестьянство и составляло основу легионов, ибо по мысли Вегеция «для военного дела больше подходит народ из деревни — все, кто воспитан под открытым небом, в труде, вынослив к солнечному жару, не обращает внимания на ночную сыпкость, не знает бань, чужд роскоши, простодушен, чье тело закалено для перенесения всяких трудов, у кого еще из деревенской жизни сохранилась привычка носить железные орудия, копать рвы, таскать тяжести» [23, С. 207].

Проблема наделения ветеранов землей, по мнению А.Н. Нуруллаева [47] остро стояла во все времена римской истории и во многом даже определяла направление внешней и внутренней политики римского государства. После окончания Пунических войн для обеспечения ветеранов выделялись, например, земли союзников, не проявивших требуемой лояльности по отношению к Риму в его борьбе с Ганнибалом.

Однако, издревле практиковавшиеся меры обеспечения отставных воинов небольшими земельными наделами за счет государственных земель или путем образования колоний на захваченных в ходе войн землях к II в. до н.э. перестали быть эффективными. С одной стороны, вследствие расширившихся границ государства колонизировать можно было исключительно заморские территории, что, естественно, не вызывало большого энтузиазма ни у одного ветерана. С другой — владельцы небольших сельхозугодий, расположенных на территории Италии, не могли конкурировать с крупными землевладельцами. Очень скоро бывший солдат оказывался перед выбором: умереть с голоду или продать нерентабельное хозяйство и податься в Город продавать свой меч, коль скоро в нем найдется нужда и соответствующий покупатель, или пополнить ряды многочисленных разбойников, делавших путешествие по знаменитым римским дорогам занятием далеко не безопасным. И наконец, римлян, долгое время находившихся под гнетом суровых стеснений военного времени, после завоевания богатейших азиатских и эллинских провинций буквально захлестнула волна военной добычи, предметов роскоши, породившая безудержную страсть к удовольствиям, противостоять которой не смогло ни одно сословие римского народа. В результате,

в 151 г. до н.э. при попытке провести новый набор в армию возникла парадоксальная ситуация, когда консулы не могли найти желающих даже на должности военных трибунов и легатов в легионы. Полибий свидетельствует, что «молодежь уклонялась от военной службы под такими предложениями, которые стыдно было бы назвать, непристойно проверять и невозможно опровергать» [52, 35, 4].

«В дальнейшем, — отмечал Г. Хоуэлл, — примеры высоких побуждений и бескорыстной преданности служения интересам нации становились все более редкими. Природная суровость римлян превратилась в бесчувственность, и расчетливый цинизм постепенно овладел представителями всех сословий» [69, С. 411]. Любопытно, что первые гладиаторские игры были устроены в 105 г. до н.э. консулами, опасавшимися, что воинский дух народа придет в упадок, стремившимися кровавыми зрелищами возродить если не благородное славолюбие прежних веков, то хотя бы пробудить агрессивные инстинкты толпы. С этой целью вооружение гладиаторов в гротескной форме отражало вооружение исторических или реальных врагов Рима: самнитов, фракийцев, галлов и т.п., но никогда не воспроизводило вооружение римского legionera.

Сокращение призывного контингента из числа крепких итальянских крестьян и ослабление традиционных римских добродетелей в среде правящего слоя общества заставили прагматически мыслящих римлян пойти на кардинальную реформу армии с тем, чтобы сделать ее более приспособленной к реалиям времени. В результате реформ, связанных с именем Гая Мария, путь в легионы был открыт всем желающим. Критериями служили римское гражданство и физическая пригодность новобранца к военной службе; старый разрядный принцип комплектования был уничтожен. Солдат теперь обязан был служить в течение 25-26 лет (поскольку увольнение выслуживших срок проходило 1 раз в 2 года), после которых получал право на отставку, небольшой пенсией и земельный надел. Кроме того, Марий обещал legionерам делиться с ними военной добычей.

Таким образом, Рим предпочел содержать постоянную армию из профессиональных солдат, чьим уделом и ремеслом стала исключительно война. Наряду с несомненно повысившейся боеспособностью, что доказали громкие победы Мария над племенами тевтонов и кимбров, эта армия обладала рядом других особенностей, которые вскоре стали оказывать значительное влияние на жизнь всего римского общества. «Пропасть, отделявшая гражданина от солдата, с тех пор только расширя-

лась, и, наоборот, узы между солдатами и полководцами становились крепче» [69, С. 468].

Полководцев и солдат теперь соединяли очень прочные связи взаимного материального интереса. Удачливый полководец за счет имущества побежденных врагов обеспечивал более высокий «уровень жизни» своим солдатам, которые платили ему за это личной преданностью. У римского нобилитета, из которого главным образом комплектовалось командование легионами, не мог не возникнуть сильнейший соблазн воспользоваться этой нерассуждающей любовью солдатской массы для удовлетворения личных честолюбивых устремлений. Армия в Риме впервые становилась не только военной, но и политической силой, которая ввиду фактического разложения городского плебса, бывшего некогда носителем римского народовластия и гражданского духа, стала средством достижения и главной опорой верховной власти.

Сам Марий и особенно его бывший подчиненный по Югуртинской войне Луций Корнелий Сулла стали теми, кто первыми использовал новые войска в римской политической фракционной борьбе, выпустив джина кровопролитнейших гражданских войн, терзавших Римскую республику на протяжении целого века. Гражданское противостояние не прекращалось даже перед лицом такого опасного противника как понтийский царь Митридат VI Евпатор, воевать против которого была брошена армия Суллы.

Новые взаимоотношения полководца и войска отчетливо видны на примере этого полководца и государственного деятеля, который именно благодаря своим закаленным в битвах с Митридатом ветеранам смог достичь немислимого прежде в Риме величия. Для его безудержного честолюбия практически ничего не значила даже столь незыблемая прежде в легионах римская дисциплина. «На тех, кто осуждал его, Сулла не обращал никакого внимания, но **угождал собственному войску** (выделено нами — авт.)», — замечает Плутарх [51, т.2, С. 49]. Так же вынуждены были угождать войскам и десятки легатов, трибунов, больших и малых полководцев. Теперь даже великие, как например Лукулл, который обладал холодными, высокомерными манерами и пренебрегал умением располагать к себе солдат и обеспечивать их личную привязанность к своему командиру [69, С. 557], не могли рассчитывать на успех военных предприятий. Это угождение войску сделало войны, ведиущиеся Римом, крайне жестокими и грабительскими, поскольку военной добычи, которой покупалась преданность солдатской массы, требовалось все больше.

В военной риторике рассматриваемого периода место *патриотического* пафоса в речах полководцев все чаще стали занимать мотивы воинской чести, во многом понимаемой не только как обладание традиционными солдатскими добродетелями, но и как преданность своему вождю. Так в сражении при Орхомене (85 г. до н.э.) Сулла, выбежал со знаменем вперед и, обращаясь к дрогнувшим под натиском митридатовых войск солдатам воскликнул: «Римляне, здесь, видно найду я прекрасную смерть, а вы запомните, что на вопрос: «Где предали вы своего императора?» — вам придется отвечать: «При Орхомене» [51, т.2, С. 61].

О важности умения яркой речью привлечь к себе сердца солдат говорит и пример величайшего политического авантюриста, друга и сторонника Суллы Луция Сергия Катилины, поставить предел честолюбивым устремлением которого, суждено было ораторскому таланту великого Цицерона. После разоблачения в сенате его заговора и осуждения на смерть его сторонников Катилина встал на путь открытого мятежа (62 г. до н.э.). Отрезанный с войском своих плохо вооруженных немногочисленных сторонников Катилина, тем не менее, не отказался от борьбы; созвав воинов на сходку, он произнес перед ними следующую речь.

«Мне хорошо известно, солдаты, что слова не прибавляют доблести и что от одной речи полководца войско не становится из слабого стойким, храбрым из трусливого. Какая отвага свойственна каждому из нас от природы или в силу воспитания, такой она проявляется и на войне. Кого не воодушевляют ни слава, ни опасности, того уговаривать бесполезно: страх закладывает ему уши. Но теперь все вы так же хорошо, как и я, понимаете, в каком мы положении. Два вражеских войска, одно со стороны Города, другое со стороны Галлии, преграждают нам путь. Находиться в этой местности, даже если бы мы очень захотели, нам больше не позволяет недостаток зерна и других припасов. Куда бы мы ни решили направиться, нам надо пролагать себе путь мечом. Поэтому призываю вас быть храбрыми и решительными и, вступив в бой, помнить, что богатства, почести, слава, а также свобода и отечество — в ваших руках. Если мы победим, нам достанется все; продовольствия будет в изобилии, муниципии и колонии откроют перед нами ворота. Если же мы в страхе отступим, это обернется против нас, и ни местность, ни друг не защитят того, кого оружие не защитит. Более того, солдаты, наши противники не находятся в таком же угрожаемом положении, в каком мы: мы боремся за отечество, за свободу, за жизнь, для них же нет никакой надобности сражаться за власть немногих людей. Тем от-

важней нападайте, помня о своей прежней доблести... Вы решили разделить со мной опасности. Если хотите избавиться от них, вам нужна отвага: один лишь победитель достигает мира ценой войны. В сражении наибольшая опасность всегда грозит тому, кто больше всего боится. Отвага заменяет собой крепостную стену. Когда я смотрю на вас, солдаты, и думаю о ваших подвигах, меня охватывает великая надежда на победу. Ваше присутствие духа, молодость, доблесть воодушевляют меня, как и [сознание] неизбежности, которая даже трусов делает храбрыми. Ведь враг, несмотря на свое численное превосходство, окружить нас не может: ему мешает недостаток места. Но если Фортуна не пощадит вашей доблести, не позволяйте врагам с легкостью перебить вас и, чтобы вас, взятых в плен, не перерезали, как скотину, сражайтесь, как подобает мужчинам, если же враги одержат над вами победу, пусть она будет кровавой и горестной» [59, С. 484-485].

Эта талантливая, риторически изящно обработанная, красивая речь принадлежит человеку, руки которого были многократно обогреты кровью, человека в полной мере беспринципного, восстание которого, как считали современники, чуть не привело государство на край гибели. Катилина Саллюстием признается неким «извергом рода человеческого» по количеству собранных в одном человеке пороков: «Необузданный дух Катилины постоянно стремился к неумеренному, невероятному, недостижимому» [59, 5, С. 447]. За раскрытие его заговора Цицерон заслужил титул отца отечества, который, по замечанию Аппиана, давался римским государственным деятелям не сразу, но после больших трудов, «как высшее признание их подвигов» [4, 10, С. 377].

Из речи Катилины впервые для военной риторики возникает проблема взаимосвязи нравственности оратора и исповедуемых им принципов с эффективностью речевого воздействия. Автор первой русской военной риторики Я.В. Толмачев полагал добрую нравственность военного оратора непременно залогом эффективного воздействия его речи. Древние были не столь категоричны. «Настоящий оратор никогда не может мыслить низко и неблагородно: никогда не смогут создать что-либо поразительное и внушительное те люди, которые в течение всей своей жизни жили рабскими мыслями, вниз устремляли взор, помыслы чьи были низки и обыденны; обычно величественны речи тех, чьи мысли полновесны и содержательны. Точно также лишь те обладатели возвышенного, у которых сам по себе возвышен образ мыслей...», — полагал Псевдо-Лонгин в своем знаменитом трактате «О возвышенном» [55, С. 11].

Пример Катилины и многочисленных его последователей в римской и мировой истории показывает, что то возвышенное, которое вменяет Псевдо-Лонгин настоящему оратору, далеко не обязательно должно быть добродетельным и нравственным. Это подтверждают величайшие движения народов, хотя бы XX века, вслед вождям, проповедовавшим порой самые безнравственные и антигуманные идеи. «То, что нам гибелью грозит, Для сердца смертного таит Незыблемы наслажденья...». Видимо в этом и кроется разгадка феномена речи Катилины, увлекавшего своих слушателей прежде всего размахом своих замыслов и деяний.

Его речь прекрасно учитывает особенности этоса. К отчаянным, по большей части молодым людям, изрядно польстив их самолюбию, Катилина обращается как к азартным игрокам в кости, предлагая поставить все состояние на один бросок. Здесь нет ни унылых нравоучений, нет ни тяжеловесной основательности риторики времен ранней республики. Речь, если можно так выразиться, удивительно легкая, вполне подстать легкомыслию ее автора, в котором неоднократно его уличает благонамеренный Аппиан. Содержание речи как нельзя лучше дает понять психологию многочисленных возмутителей спокойствия всех времен и народов.

Слава, почести, богатство, победа — вот цель их стремлений, а средство к достижению всего этого — личная доблесть, отвага, мужество и решительность. Все эти слова — ясно выраженные ключевые понятия речи; «отвага», «доблесть», «победа» встречаются в тексте по 4 раза. Собственно речь призывает не столько к победе, сколько к проявлению отваги, что и продемонстрировали изумленным противникам эти молодые воины: «Только тогда, когда битва завершилась, и можно было увидеть, как велики были отвага и мужество в войске Катилины. Ибо чуть ли не каждый, испустив дух, лежал на том же месте, какое он занял в начале сражения. Самого Катилину нашли далеко от его солдат, среди вражеских тел. Он еще дышал, и его лицо сохраняло печать той же неукротимости духа, какой он отличался при жизни» [59, С. 486].

Надо сказать, что в этот последний век своего существования (I в. до н.э.) Римская республика не испытывала недостатка в личностях неукротимого духа, могучей воли и великого таланта. В огне войн и смуте гражданских междоусобиц развился талант одного из величайших военных и государственных деятелей всех времен и народов Юлия Цезаря, трудами которого закончился период республиканского Рима и

на просторах античной ойкумены воздвиглось величественное здание Римской империи.

Из всех многочисленных войн, которые велись Цезарем, Галльская была войной, вознесшей его к вершине власти и славы [69, С. 590]. Начатая как превентивная в целях предотвращения угрозы римским границам из-за большого переселения западногерманских племен она закончилась полномасштабным завоеванием всей Галлии и вторжением на Британские острова.

Есть что-то общее в характере войн, которые велись всеми великими завоевателями. Цезарь, как и Александр, и Ганнибал до него, начал войну совсем небольшими силами и подобно им достиг значительных успехов, благодаря точному учету морального фактора на войне. То безграничное влияние на собственных солдат и командиров, которое позволяло его военачальникам взывать даже к одному только его имени, чтобы поднять боевой дух войск, во многом определяло умение Цезаря говорить с войсками.

«В красноречии и в военном искусстве он стяжал не меньшую, если не большую славу, чем лучшие их знатоки. Во всяком случае, Цицерон, ... заявляет, что не видел никого, кто превосходил бы Цезаря, и называет его слог изящным, блестящим, и даже великолепным и благородным», — писал про него Светоний [60, С. 36]. Но по характеру своего красноречия, что отмечал акад. М.М. Покровский, Цезарь весьма отличался от Цицерона. Если в стиле последнего часто была заметна чисто «азианская» пышность, то стиль Цезаря отличался большей «солдатской» простотой и сжатостью.

Говоря о содержании и жанровом многообразии военной риторики Цезаря, прежде всего стоит указать на то, что она отличается большой прагматичностью. Речи полководца бывают обращены к подчиненным, стоящим на разных уровнях в военной иерархии, только когда это безусловно необходимо.

В «Записках» Цезаря о первой кампании Галльской войны (58 г. до н.э.), когда римляне вели боевые действия против гельветов, вообще не содержится упоминаний о каких-либо речах перед войсками. Как и Александр при Гранике, перед началом первого сражения Цезарь только ставит задачу на обходной маневр легату с правами претора (своему фактическому заместителю во всем походе) Титу Лабиезу, причем даже подобия военного совета мы не найдем: «он познакомил его со своим общим планом действия» [20, С. 18]. Войска перед вступлением

в бой он только кратко ободряет, достигнув этого во многом, очевидно, приказом командирам (и личным примером) спешиться и отправить лошадей в тыл, подчеркивая тем желание разделить судьбу и опасность с солдатами.

Зато вторая кампания (58 г. до н.э.), оказавшая значительное влияние на ход всей войны, против германского племенного вождя Ариовиста обеспечивается речевым воздействием полководца уже в полном объеме. Объясняется это падением боевого духа в римских войсках, вследствие распространившихся слухов о высоких боевых качествах германцев. При чем страх распространялся из среды военачальников и окружения самого



Рис. 8. Юлий Цезарь

Цезаря, значительную часть которого составляла по распространенному тогдашнему обычаю патрицианская «золотая молодежь», которая ехала на войну из честолюбивых политических соображений (участие в войне в должности трибуна или легата легиона давало право на избрание в сенат). После того как дело дошло до составления завещаний, смущение и страх начали распространяться и в среде профессиональных военных — центурионов и солдат. Как всегда в подобных случаях струсившими людьми выставлялись «разумные» основания своего страха: забота о коммуникациях и трудностях похода,

связанных с продвижением по незнакомой местности.

«Заметив все это, Цезарь созвал военный совет, на который пригласил также центурионов всех рангов (выделено нами — авт.), и в гневных выражениях высказал порицание прежде всего за то, что они думают, будто их дело — спрашивать и раздумывать, куда и с какой целью их введут. В его консульство Ариовист усердно домогался дружбы римского народа: откуда же можно заключить, что он теперь без всяких оснований откажется от своих обязательств? Он, по крайней мере, держится того убеждения, что, как только Ариовист познакомится с его требованиями и удостоверится в их справедливости, он не станет отталкивать от себя расположения его, Цезаря, и римского народа. Но если даже

под влиянием бешенства и безумия он действительно начнет войну, так чего же они в конце концов боятся? И зачем они отчаиваются в своей собственной храбрости и в осмотрительности своего полководца? Ведь с этим врагом померились на памяти наших отцов, когда Г. Марий разбил кимбров и тевтонов.... По этому можно судить, сколько выгоды заключает в себе стойкость. Наконец, это все тот же враг, над которым часто одерживали победы гельветы, и притом не только на своей, но по большей части на его земле, а ведь гельветы никогда не могли устоять против нашего войска. Но если некоторых смущает неудачное сражение и бегство галлов, то, разобрав дело, они поймут, что галлы были утомлены продолжительной войной. Ариовист же много месяцев подряд не выходил из своего лагеря и из болот и не давал случая сразиться с ним; они уже потеряли всякую надежду на сражение и рассеялись, когда он внезапно напал на них и одержал победу не столько храбростью, сколько хитрым расчетом. Но если расчет этот был уместен в борьбе с неопытными варварами, то и сам Ариовист не надеется провести им наше войско. А те, которые прикрывают свой страх лицемерной тревогой за продовольствие или ссылкой на трудные перевалы, те позволяют себе большую дерзость, отчаиваясь в верности полководца своему долгу и осмеливаясь давать ему предписания. Это его дело. Хлеб ему доставляют секваны, леуки и лингоны, и он на полях уже созрел; а о состоянии путей они скоро сами получают представление. А что будто бы его не послушаются и на неприятеля не пойдут, то эти разговоры его нисколько не волнуют: он знает, что те, кого не слушалось войско, не умели вести дело, и им изменяло счастье; или же это были люди, известные своей порочностью и явно избалованные в корыстолюбии; но его собственное бескорыстие засвидетельствовано всей его жизнью, а его счастье — войной с гельветами. Поэтому то, что он предполагал отложить на более отдаленный срок, он намерен осуществить теперь и в ближайшую же ночь, в четвертую стражу, снимется с лагеря, чтобы как можно скорее убедиться в том, что в них сильнее: чувство чести и долга или трусость. Если за ним вообще никто не пойдет, то он выступит хотя бы с одним 10-м легионом: в нем он уверен, и это будет его преторской когортой» [20, С. 29].

В этой речи весь Цезарь: уверенный в себе, стремительный, решимость которого превосходила всякое воображение. Цезарь, как можно понять из его «Записок», вообще не был сторонником длительных военных советов, и эта речь единственная, принадлежащая ему. На советах,

очевидно, ставились задачи и, в лучшем случае, разъяснялись решения полководца, как видно из приведенного примера. Видимо желая показать пагубность разномыслия и многоречия перед лицом врага, Цезарь в другом месте приводит только один случай обсуждения плана действий между легатами Коттой и Титурием Сабинном, когда возобладало ошибочное мнение Титурия, и весь легион (единственный случай за всю войну) был уничтожен восставшими галлами.

Речь Цезаря на военном совете преследует одну цель — показать подчиненным непреклонную волю и гений начальника, которые в состоянии предусмотреть и превозмочь любые негативные обстоятельства. Это спокойствие и уверенность, сквозящие в каждом слове, дали, по М.М. Покровскому, «основание известному знатоку античной художественной прозы Э. Нордену назвать цезаревский стиль *stilus imperatorius*» [20, С. 478].

Сложная двусторонняя аргументация речи выстроена весьма своеобразно. Прежде всего самым испуганным людям дается небольшая надежда, что столкновения с грозными германцами, вполне возможно, удастся избежать. Другим, в большей степени сохранившим присутствие духа, разъясняется, почему германцы до сих пор побеждали галлов. И наконец, явно на присутствующих центурионов, как всяких выходцев из солдатской массы весьма суеверных, рассчитан грубоватый пассаж о военном счастье и самого Цезаря, и, следовательно, возглавляемых им войск. Это сочетание рациональных и иррациональных доводов следует признать очень талантливым ходом, свидетельствующим о тонком понимании психологии военного человека. Вера в «звезду», удачливость полководца будет вдохновлять войска на протяжении всей истории войн, и найдет воплощение в изречении Наполеона, писавшего про печально знаменитого австрийского генерала Макка, что тот «был несчастлив».

Ставка на солдатское честолюбие, корпоративный дух видна в демонстративном отличии 10-го легиона (присвоение легионам номеров было осуществлено по инициативе Цезаря). Эта речь, как свидетельствует сам полководец, вызвала удивительную перемену в настроении всего войска и пробудила большую бодрость и боевой пыл; 10-й же легион через своих трибунов принес особую благодарность за столь лестное для них мнение Цезаря и в дальнейшем являлся его надежной опорой в ходе всей войны.

В сражении с нервиями во время похода на белгов (57 г. до н.э.), как впоследствии и при осаде Алезии (52 г. до н.э.) Цезарь неизменно появлялся со словами ободрения на самых трудных участках. Ввиду внезап-

ного нападения врагов в первом случае и растянутости позиций во втором не представлялось возможным не только произносить речи перед всеми войсками, но даже распоряжаться самим ходом сражения. В этом случае полководец обходился кратким внушением, как например, 10-му легиону. «Его солдатам он лишь вкратце посоветовал твердо помнить о своей прежней доблести, не падать духом и храбро выдержать неприятельскую атаку. Так как враги подошли уже приблизительно на расстояние выстрела, он дал сигнал к бою. Направившись в другое место также для ободрения, он застал солдат уже в самом разгаре сражения» [20, С. 47].

Если слова уже не могли помочь, помогал личный пример. «Все положение было очень опасно и не было под руками никакого подкрепления. Тогда Цезарь выхватил щит у одного из солдат задних рядов (так как сам пришел туда без щита) и прошел в первые ряды; там он лично поздоровался с каждым центурионом и, ободрив солдат, приказал им идти в атаку, а манипулы раздвинуть, чтобы легче можно было действовать мечами. Его появление внушило солдатам надежду и вернуло мужество, и так как на глазах у полководца каждому хотелось, даже в крайней опасности, как можно доблестнее исполнить свой долг, то напор врагов был несколько задержан» [20, С. 50]. Здесь мы видим, как и у Александра, какое поразительное действие оказывает спокойствие начальника и его внимание к солдату; простое приветствие младших командиров поднимает дух и увеличивает силы войска.

Это же соревнование в личной доблести по примеру начальника мы видим и при высадке на Британские острова (55 г. до н.э.), когда орлоносец 9-го легиона на глазах у колеблющихся солдат обратился с демонстративной молитвой богам о даровании воинского счастья легиону «и сказал солдатам: прыгайте, солдаты, если не хотите предать орла врагам; а я во всяком случае исполню свой долг перед республикой и императором. С этим громким призывом он бросился с корабля и пошел с орлом на врагов. Тогда наши ободрили друг друга (выделено нами — авт.) и, чтобы не навлекать на себя великого позора, все до одного спрыгнули с корабля» [20, С. 82].

Взаимное «ободрение» римских воинов — новое и чрезвычайно важное явление: **широкое распространение круга участников военных речевых коммуникаций свидетельствует о том, что солдатская масса являлась уже не только объектом речевого воздействия, но и приобрела черты субъекта такого воздействия. Активизация**

**речевой деятельности войск всегда свидетельствует о высокой степени их боевой активности;** например в сражении с нервиями солдаты «уже не дожидались приказов Цезаря, но сами принимали соответствующие меры». В неудачной для римлян стычке во время галльского восстания спаслись только те солдаты, которые «ободрив друг друга» (выделено нами — авт), сумели пробиться сквозь вражеские ряды. «Другая же часть, — отмечает далее Цезарь, — была окружена варварами и погибла» [20, С. 139].

Это стремление к речевой активности в войсках всячески поддерживалась полководцем. При осаде Аварика (52 г. до н.э.), например, Цезарь неоднократно, объезжая фронт работ, обращался к отдельным легионам и говорил им, что готов снять осаду, если им слишком тяжело (!) терпеть нужду, однако «они, все до одного, просили его не делать этого: за много лет службы под его командованием они никогда не навлекали на себя бесчестия, ниоткуда не уходили, не кончив дела; они сочли бы для себя позором оставить начатую осаду...» [20, С. 149].

Естественно, что в условиях приближения деблокирующего войска галлов и общего численного превосходства неприятеля, снимать осаду для римлян было бы самоубийственно, но этими «провокационными» речами, применением стратегии непрямого речевого воздействия Цезарь способствовал осознанию каждым солдатом смысла его воинского труда, его борьбы и его долга, воспитывая их в духе доблести и воинской чести. Не менее важно было и то, что решение подвергать себя тяготам войны исходило, таким образом, не от приказа полководца, но было личным решением каждого солдата.

Развивая в своих воинах важнейшие качества: инициативность и ответственность, Цезарь получал такое войско, которое надо было скорее удерживать от боя, нежели вдохновлять на подвиги. Неуместный почин, излишняя самоуверенность и высокая боевая активность войск бывали даже причиной отдельных неудач римлян, как например, под Герговией (52 г. до н.э.), где римляне понесли немалые потери (700 чел.), впрочем, никак не сказавшихся на общем ходе войны. В этом случае Цезарю приходилось даже не поднимать их дух, а несколько охлаждать чересчур горячие головы.

«На следующий день Цезарь созвал солдат на сходку и на ней порицал их безрассудство и пыл, именно что они самовольно решили, куда им идти и что делать, не остановились при сигнале к отбою и не послушались удерживавших их военных трибунов и легатов. ...Насколько

он удивляется их героизму, которого не могли остановить ни лагерные укрепления, ни высота горы, ни городская стена, настолько же он порицает их своеволие и дерзость, с которой они воображают, что могут судить о победе и об успехе предприятия правильнее полководца. От солдата он требует столько же повиновения и дисциплины, сколько храбрости и геройства. Но в конце этой речи он ободрил солдат и советовал им не слишком из за этого печалиться и не приписывать храбрости врагов того, что произошло от неудобства местности» [20, С. 168]. В этой короткой речи замечательно то, что в ней нет и намека на начальственный «разнос», который способен только породить у подчиненных неуверенность в себе и тяжело повредить тем самым делу воспитания воинской чести; в этом случае уместно даже своеобразное «утешение», объясняющее причины неудачи объективными обстоятельствами.

Значение для конечной победы римлян воспитанной таким образом воинской доблести тем более велико, что противостояла ей не меньшая доблесть противника, сражавшегося с большим ожесточением и самоотвержением, к тому же возглавляемого талантливым вождем. Галльский вождь Верцингеториг отличался еще и незаурядным ораторским даром, и способностью читать в душах соплеменников. Он не падал духом даже при крупных неудачах, не избегал объяснять их причины войскам и умел передать свою уверенность в успехе окружающим.

После взятия римлянами Аварика Верцингеториг «созвав на следующий день собрание, утешал присутствующих и ободрял их не слишком падать духом и не слишком волноваться по поводу неудачи: не храбростью и не в открытом бою победили римляне, но каким-то хитрым приемом и благодаря знанию осадного дела, в котором галлы были неопытны. Ошибаются те, которые ожидают на войне только одних успехов. Но он скоро залечит ее более крупными успехами. Именно те общины, которые расходятся с остальными галлами, он всячески постарается привлечь на свою сторону и таким образом создать единый общегалльский союз; и если в нем будет согласие, то даже весь мир не в состоянии бороться с ним. Этой цели он почти уже достиг. А тем временем в интересах общего блага справедливо потребовать от них приступить наконец к укреплению своих лагерей, чтобы тем легче выдерживать внезапные нападения врагов» [20, С. 156).

Эта мужественная речь показывает, что вождь смог своей речью из явного поражения извлечь пользу для дела: Цезарь отмечает, что авторитет вражеского военачальника после этого с каждым днем

увеличивался, и галлы работали над укреплением своего лагеря, охваченные единоклюшным порывом.

\* \* \*

В чем же секрет побед великого Юлия? Один из вариантов ответа нам видится в превосходстве созданной им системы воинского воспитания, подобно тому, как превосходство патриотического воспитания прежде обеспечило Риму победу над Ганнибалом.

Воины его легионов в полной мере были военными профессионалами, корпоративный дух которых стоял очень высоко. Сам Цезарь упоминал о храброй молодежи 11-го легиона, которые служили «всего» восемь лет, и поэтому не могли равняться боевой опытностью с закаленными ветеранами 7-го, 8-го и 9-го легионов. О том, какое значение ими придавалось званию солдата и как высоко стояло в их сознании слово полководца, говорит весьма показательный факт. Когда солдаты любимого Цезарем 10-го легиона, уставшие от бесконечных походов, перед отправкой в далекую Африку возмутились и стали требовать демобилизации, он, «не слушая отговоров друзей, без колебания вышел к солдатам и дал им увольнение; а потом, обратившись к ним «граждане!» вместо обычного «воины!» (выделено нами — авт.), он одним этим словом изменил их настроение и склонил их к себе: они наперебой закричали, что они — его воины, и добровольно последовали за ним в Африку, хоть он и отказывался их брать» [60, С. 41].

Высокий боевой дух поддерживался в войсках и путем организации соперничества между отдельными подразделениями, и системой особых знаков отличия. Так Светоний указывает, что Цезарь в качестве поощрения дарил воинам оружие, украшенное серебром и золотом, «как для красоты, так и затем, чтобы они крепче держали его в сражении из страха потерять ценную вещь» [60, С. 40].

Но самое главное, что обеспечивало Цезарю необыкновенную любовь и привязанность войск, была любовь полководца к своим войскам. Светоний говорит: «А любил он их так, что при вести о поражении Титурия отпустил волосы и бороду и остриг их не раньше, чем отомстил врагам» [там же]. Воинов он ценил не за поведение и не за происхождение и богатство, а только за мужество; многократно в его «Записках» встречаются упоминания о подвигах простых солдат. Памятуя о тяготах солдатской службы, Цезарь проявлял жесткую требовательность к войскам только при близости неприятеля; но тогда уже «требовал от

них самого беспрекословного повиновения и порядка, не предупреждал ни о походе, ни о сражении, и держал в постоянной напряженной готовности внезапно выступить, куда угодно» [60, С. 39].

Проявлением этой нелицемерной любви было и то, что «божественный Юлий» (быть может, первый среди полководцев своего века, относившихся к войску только как к инструменту для достижения цели) умел беречь жизнь солдата. При осаде Аварика солдаты возмущались наглым поведением галлов и требовали немедленно вести их на штурм. «Но Цезарь разъяснил им, скольких жертв и скольких доблестных жизней должна была бы стоить эта победа: как раз потому, что он видит их полную готовность решиться на все ради его славы, он был бы повинен в величайшей несправедливости, если бы их жизнь была для него не дороже его личных интересов» [20, С. 150].

Эта любовь воспитывалась в немалой степени благодаря организации постоянного речевого взаимодействия с войсками, доступностью и простотой обращения полководца; однако обращался он к ним всегда не как равный, а как высший, что только увеличивало цену его «простоты», не доводя ее до дешевого панибратства и заигрывания. Весьма часто, по утверждению Светония, Цезарь на сходках обращался к воинам, «ласковее» называя их соратниками. В этом умении расположить к себе солдатскую массу заключается победа военной риторики Цезаря над риторикой Верцингеторига, у которой не было недостатка в мужестве, решительности, даже патриотизме, но не было той любви, которая бы заставила бы его воинов предпочесть смерть выдаче своего вождя римлянам. Но Цезарь не был бы истинным прагматичным римлянином, если бы руководствовался в отношении к солдатам только любовью. Он точно соблюдал правило, позднее сформулированное Онасандром (I в.): излишний страх перед военачальником, вследствие его непомерной строгости вселяет в войско ненависть, излишняя же снисходительность — презрение к нему.

Жанровые формы, в которых отливались военные речевые коммуникации в войске Цезаря, были весьма разнообразны: от традиционной речи на военном совете, до речи на солдатской сходке и краткого «ободрения» воинов в пылу битвы. Почти все речевые ситуации были диалогичны по форме, и значительная часть их реализовала стратегию не прямой коммуникации [15, С. 13]. Поразительное самообладание Цезаря помогало ему даже в случае явных неудач, как например, при Герговии, или при высадке в Африке, когда он оступился и упал, сходя с корабля,

но все же сумел шуткой обратить это в хорошее предзнаменование, воскликнув: «Ты в моих руках, Африка!» [56, С. 30].

Практически все эти формы в той или иной степени представляли собой вдохновляющие речи. Всесторонний учет психологии военного профессионала, бодрый наступательный дух, сообщаемый речами войскам, любовь и привязанность подчиненных обеспечили Цезарю победу в гражданской войне с Помпеем и его сторонниками и сделали его фактически первым римским императором.

### **4.3. Военная риторика периода Империи**

Несмотря на то, что верховную власть в государстве Цезарю принесла армия, он не стремился, как указывает Т. Моммзен, поставить военную силу выше гражданских административных учреждений. Об этом свидетельствует хотя бы роспуск по окончании гражданской войны его прославленных легионов, которые, конечно, получили обещанные награды, но были расселены не компактно, как в свое время легионы Суллы, а по границам Империи, откуда они, собственно, в массе своей и набирались. После упоминавшегося возмущения легионов Цезарь понимал, что «если тысячи мечей обнажаются по его приказу, то в ножны они по его приказу не вкладываются» [45, С. 244]. Это он мог наблюдать и во время экспедиции против помпеянцев в Африку, когда его расвирепевшие солдаты вышли из повиновения и закончили сражение при Тапсе (46 г. до н.э.) массовой резней побежденных и даже части собственных командиров, заподозренных в сочувствии к противнику, таких же, собственно, римлян, как и они. Однако даже административный гений Цезаря не смог преодолеть силу обстоятельств, и с его смертью Римская империя с неизбежностью стала превращаться в военную монархию, целиком зависящую от произвола солдатни, единственным основанием власти в которой служили мечи ее пока еще непобедимых легионов.

Во время правления «божественного Августа» эта тенденция была не столь очевидной, ввиду чрезвычайной мягкости правления последнего. Видимость народовластия сохранялась, благодаря знаменитым «отречениям» Октавиана, практиковавшимся каждые 10 лет, начиная с 27 г. до н.э.. в течение всех 43 лет нахождения принцепса у власти. Армия, исправно воздавая положенные почести императору, не обнаруживала

стремления к политической деятельности, вследствие достаточно высокого материального достатка воинов; помимо жалованья солдат мог после 20-25 лет службы потребовать из имперской военной кассы *praemia veteranorum*.

После стабилизации внутренней ситуации в государстве, связанной с окончанием гражданских войн, в отношениях с армией Август придерживался ровного, спокойного тона. «Он уже ни разу ни на сходке, ни в приказе не называл воинов «соратниками», а только «воинами», и не разрешал иного обращения ни сыновьям, ни пасынкам, когда они были военачальниками: он находил это слишком льстивым и для военных порядков, и для мирного времени, и для достоинства своего и своих ближних» [60, С. 62].

Очевидно, здесь видна забота принцепса о том, чтобы его возможные беспокойные преемники не слишком уж приобретали популярность в солдатской среде, которой смогли бы воспользоваться с выгодой для себя и к ущербу его интересам. С этим, вероятно, связана и предусмотрительная ротация высших командиров, как например Тиберия, связанная даже с некоторым ущербом государственно-политическим интересам, когда последний, в преддверии большого похода на германцев был заменен Германиком.

Мир, заключенный вскоре с германцами, показывает, что Август, хорошо знакомый со всеми превратностями гражданской войны, предпочитал иметь хорошо управляемую армию мирного времени, чем создавать опасный прецедент воодушевленного победами боевого войска, предводительствуемого сильной, харизматической личностью. К тому же военный бюджет огромной империи, теоретически способной выставить четырехмиллионную армию, был весьма ограничен огромными расходами, связанными с регулярными денежными и продовольственными подарками римскому населению. По подсчетам Моммзена регулярные выдачи подарков производились на 200-300 тыс. человек и только на эти «пожертвования Август истратил на протяжении своего правления 120-150 миллионов марок» [45, С. 109]. Эти выплаты, раз начав, невозможно было прекратить, и они лежали на казне настолько тяжелым грузом, что после гибели в Тевтобургском лесу трех легионов Квинтилия Вара, Август смог воссоздать только два из них.

При последующих императорах все недостатки военной монархии проявились уже в полной мере. Вскоре после смерти Августа вспыхнул военный мятеж в лучших легионах, расквартированных в провинциях

по берегам Дуная и Рейна. Эти мятежи еще не были спровоцированы политическими соображениями; простыми солдатами выдвигались требования обещанных Августом выплат, сокращения срока службы и уравнивания в правах с преторианцами. Командование легионов хоть и не принимало в них участия, но, вместе с тем показало, что оно не способно самостоятельно справиться с солдатской массой. Сказывалась отмечавшаяся выше боязнь харизматических личностей, которые бы имели влияние и умели бы говорить с войском.

В результате успокаивать мятежные легионы вынуждены были сын императора Тиберия Друз и официальный наследник императора Германик. Начиная с этого времени, римская военная риторика «обогащается» неизвестным ей доселе жанром уговаривания солдат исполнять свои обязанности. О том, что процесс этот мог быть достаточно трудоемким и небезопасным говорит рассказ Тацита (56—117) об «усмирении» легионов Германиком, который к счастью для него «отличался... редкостной обходительностью» [30, т.1, С. 23]. Первые речи Германика, еще пытавшегося навести подобие дисциплины и напомнить мятежникам об их прежней воинской славе и верности императорам, не имели никакого успеха. Мало того, демонстративная попытка самоубийства оратора, которой он хотел показать, что скорее умрет, чем нарушит свой долг, встретила только откровенное глумление солдат, один из которых предложил Германику свой меч, говоря, что тот острее.

Наконец, после ряда бесполезных уступок Германик решился отослать от мятежных войск жену и сына (будущего императора Гая Калигулу) и обратился к воинам со следующей речью: «Жена и сын мне не дороже отца и государства, но его защитит собственное величие, а Римскую державу — другие войска. Супругу мою и детей, которых я бы с готовностью принес в жертву, если б это было необходимо для вашей славы, я отсылаю теперь подальше от вас, впавших в безумие, дабы эта преступная ярость была утолена одной моею кровью и убийство правнука Августа, убийство невестки Тиберия не отягчили вашей вины. Было ли в эти дни хоть что-нибудь, на что вы не дерзнули бы посягнуть? Как же мне назвать это сборище? Назову ли я воинами людей, которые силой оружия не выпускают за лагерный вал сына своего императора? Или гражданами — не ставящих ни во что власть сената? Божественный Юлий усмирил мятежное войско одним единственным словом, назвав квиритами тех, кто пренебрегал данной ему присягой; божественный Август своим появлением и взглядом привел в трепет

легионы, бывшие при Акции; я не равняю себя с ними, но все же происхожу от них, и если бы испанские или сирийские воины ослушались меня, это было бы и невероятно, и возмутительно. Но ты, первый легион, получивший значки от Тиберия, и ты, двадцатый его товарищ в стольких сражениях, возвеличенный столькими отличиями, ужели вы воздадите своему полководцу столь отменной благодарностью? Ужели, когда изо всех провинций поступают лишь приятные вести, я буду вынужден донести отцу, что его молодые воины, его ветераны не довольствуются ни увольнением, ни деньгами, что только здесь убивают центурионов, изгоняют трибунов, держат под стражей легатов, что лагерь и реки обагрены кровью и я сам лишь из милости влачу существование среди враждебной толпы?» [30, т. 1, С. 26].

Мятеж был прекращен только этой пламенной речью, в которой насчитывается 6 риторических вопросов, можно сказать, что из этих вопросов речь и состоит. Использованные средства выразительности группируются вокруг двух топов, которые можно было бы назвать «семья свята» и «за благодеяние платят благодарностью»; умелая риторическая обработка их приводит к нарастанию суггестивного воздействия речи, чем и объясняется ее успех. Широкое применение различного вида тропов позволяет придать речи красочность и выразительность. Можно, однако, заметить, что практически все аргументы, использованные в речи, относятся к разряду «аргументов к жалости». **Такие аргументы могут подействовать лишь раз, ввиду необычности такой формы обращения и можно сказать, что только при условии обращения столь высокого должностного лица. Попытки сыграть на жалости дважды, или если они исходят от не столь высокопоставленных начальников, только разжигают кровожадную ярость толпы.** Тацит проницательно замечает: «пагубна строгость, а снисходительность — преступление; уступить во всем воинам или ни в чем им не уступить — одинаково опасно для государства» [30, т.1, С. 24].

В этой связи примечательно, что мятеж в паннонских легионах развился после того, как легат предоставил воинам некоторое послабление в исполнении повседневных обязанностей, ввиду траура по Августу. Избыток свободного времени немедленно был употреблен во зло. С другой стороны, ежедневная жестокая требовательность центурионов в условиях мирного времени способствовала только росту озлобления солдатской массы. Весьма сомнительным выходом из создавшегося положения было, в общем, неспровоцированное решение Германика

начать боевые действия против германских племен только для того, чтобы поднять в армии расшатавшуюся за годы мира дисциплину. Эти события показали всю зависимость внешней и внутренней политики Империи от настроения простого солдата; относительно безболезненно справиться с волнениями удалось только потому, что в них не принимал участия командный состав легионов. Но это было еще впереди.

Начиная со смерти императора Гая Калигулы, павшего от рук двух гвардейских трибунов, в римской истории все большую роль начинает играть преторианская гвардия. Во многом это объясняется падением популярности и отсутствием связи с войсками императоров из дома Юлиев — Клавдиев и их человеческой ничтожностью. Клавдий был первым, получившим власть от солдат императором, который в ответ на приглашение сената принять бразды правления ответил, что достаточно того, что он был провозглашен войском. Его преемник Нерон купил лояльность гвардии богатыми дарами, а сенат в своем решении только последовал за ней. Нерона погубило то, что, по Моммзену, это был первый император, который не ощущал того, что император должен стоять во главе войска. К тому же он был первый среди своих предшественников, кто совершенно пренебрегал важностью личного речевого воздействия на подданных и армию.

«Нерон был первым, кто нуждался в чужом красноречии. Диктатор Цезарь являлся достойным соперником лучших ораторов. Август говорил легко и свободно, как и подобает принцепсу. Тиберий владел искусством взвешивать каждое слово и вкладывал в свои выступления богатое содержание, если намеренно не придавал им двусмысленности. Даже расстроенный разум Гая Цезаря (Калигулы – авт.) не лишал его речь силы. Да и у Клавдия, когда он говорил обдуманно, не было недостатка в выразительности» [30, т.1, С. 225].

Это невнимание к единственно незыблемой опоре власти — армии стоило Нерону жизни и открыло новую страницу в римской истории. До этого императорами провозглашались более или менее близкие родственники (включая усыновленных) Октавиана Августа, что обеспечивало легитимность правления принцепсов, теперь же пришло время популярных в войсках командующих, которые могли даже не отличаться знатностью происхождения. Верховная власть стала призом боровшихся за привилегии легионов и преторианской гвардии; личные экономические интересы которых уже открыто признавались и учитывались всевозможными претендентами на императорский пурпур. Первым «звонком» предупре-

ждавшим римский народ о грядущем времени анархии и корыстолюбия военных стал «год правления четырех императоров» (68—69).

Тацит отмечает, что следующий за Нероном император Гальба пал исключительно благодаря собственной скупости: «Прояви скупой старик хоть малейшую щедрость, он, без сомнения, мог бы привлечь солдат на свою сторону; ему повредили излишняя суровость и несгибаемая, в духе предков, твердость характера, ценить которые мы уже не умеем» [30, т.2, С. 14].

Зато сменивший его Отон точно знал, какими лозунгами следует привлечь на свою сторону войска. Попытки Гальбы навести хоть какое-то подобие дисциплины в войсках он сознательно использовал в целях их дальнейшего разложения. О том, насколько далеко зашел процесс морального разложения римского войска говорит речь, с которой Отон обратился к своим солдатам: «Лишенный вашей поддержки, даже самый выдающийся человек не может ничего сделать. Я веду вас не в бой, не на опасности — все солдаты, владеющие оружием, с нами. Облаченные в тоги бойцы единственной когорты, составляющей парадный конвой Гальбы, не столько охраняют его, сколько держат под стражей. Едва они завидят вас, едва получают от меня пароль, как станут бороться друг с другом за мое расположение, — никакой другой битвы и не будет. Медлить в задуманном нами деле нельзя, надо победить, и лишь тогда мы сможем собой гордиться» [30, т.2, С. 22]. Из этой речи виден трус, трусливо успокаивающий таких же трусов, что опасность им не грозит. Свою трусость Отон и доказал после первой же неудачи в борьбе за власть с Вителлием, совершив самоубийство, несмотря на то, что преторианцы, которых он фактически бросал на произвол судьбы, умоляли его не падать духом и продолжать борьбу.

С победой Вителлия лишь образовался порочный круг: легионам, поставившим «своего» императора и пользовавшимся за это всевозможными привилегиями, бешено завидовали легионы других провинций, выдвигавших в противовес своего ставленника. Борьба за власть усугублялась враждой на национальной почве, поскольку легионы теперь комплектовались в основном уроженцами провинций, и возобновившейся, ввиду слабости центральной власти, тягой провинций к самостоятельности.

Так, например, борьбой Вителлия и Веспасианом деятельно воспользовался романизированный германец из племени батавов Клавдий Цивилис, пытавшийся провозгласить *imperium Galliarum*, лавируя

между интересами римских претендентов на верховную власть. Моммзен прямо называет его последователем дела Арминия. Приведенная здесь речь Цивилиса перед галлами и германцами — первый образчик тех речей, которыми впоследствии многочисленные узурпаторы склоняли на путь мятежа и отпадения римские провинции. «...Пусть Сирия, Азия, пусть весь Восток, привыкший сносить власть царей, пребывает и дальше в рабстве, — в Галлии живо еще немало людей, родившихся до того, как вы начали платить подати. Недавно мы уничтожили Квинтилия Вара и избавили Германию от рабства, дерзнув бросить вызов не принцепсу Вителлию, а самому Цезарю Августу.... Ведь они удерживают провинции под своей властью с помощью самих же провинциалов. Мы — сами себе хозяева, римляне связаны по рукам и ногам; мы полны сил, они истощены своими войнами. Пока одни помогают Веспасиану, а другие Вителлию, мы можем избавиться от тех и других» [30, т.2, С. 147].

Цивилис играет на чувстве национальной гордости своих воинов, вспоминая уничтожение легионов Вара в Тевтобургском лесу. В этой связи становится понятным, почему Августом эта, с военной точки зрения, относительно небольшая потеря воспринималась настоящей катастрофой. Эта победа германцев Арминия всколыхнула могучий дух многочисленного народа, который, в конечном счете, стал одновременно и могильщиком, и наследником Римской империи. Попытка создания в I веке безусловно романизированной галльской империи является провозвестницей распада Империи, произошедшего несколькими веками позже, но по тому же сценарию. Политическая демагогия Цивилиса имела успех не только среди галлов и германцев; многие римские солдаты были сбиты с толку настолько, что несколько легионов принесли присягу *impegium Galliarum* в верности власти галлов, что было неслыханным преступлением, с горечью замечает Тацит.

Как всегда бывает в гражданских войнах, от римских полководцев стали требоваться не только военные дарования, но и способности политического оратора. Отныне римская военная риторика оказалась тесно связана с риторикой политической. Посланный против Цивилиса Дилий Вокула вынужден был на солдатской сходке по-настоящему бороться за свои легионы, противостоя разлагающей пропаганде противника, которая преуспела настолько, что римским солдатам враги обещали прощение и подарки за убийство командиров и переход на их сторону.

«Ни разу еще, обращаясь к вам с речью, не был я столь полон беспокойства за вас и столь спокоен за себя... Но за вас мне и горько, и стыдно. С вами ведь даже не собираются сражаться, не для вас отныне закон оружия и право войны... Пусть ныне счастье отвернулось от нас и мы утратили былую доблесть, разве мало было в прошлом римских легионов, которые предпочли умереть, чем сделать шаг назад? Разве мало мы знаем союзных народов, обрекавших огню свои города, своих жен и детей и не искавших за их гибель иной награды, кроме славы и сознания выполненного долга?... Денег вам тоже только что роздали немало, — вы можете считать, что получили их от Веспасиана, или думать, что их вам прислал Вителлий, но никто не усомнится в том, что вам дал их римский император. Если вы, победители в бесчисленных войнах... столько раз бывшие врага, теперь боитесь открытого сражения, это, конечно, стыдно, но ведь мы можем отсидеться за нашими валами и стенами, можем разными способами протянуть время, пока из ближайших провинций не придут нам на помощь войска и отряды союзников... Или и это вам нипочем, и когда германцы и галлы приведут вас под стены Рима, вы с оружием в руках ворветесь в родные дома? Ужас наполняет душу при одной лишь мысли о подобном злодеянии. Неужто вы согласны... идти в бой по сигналу, поданному батавом? Раствориться в разбойничьих шайках германцев? Как станете вы держать ответ за все содеянное, когда придется, наконец, встретиться с римскими легионами? Изменники среди изменников, предатели среди предателей, преследуемые гневом богов, будете вы метаться от тех, кому принесли присягу сначала, к тем, кому присягнули потом. О, Юпитер Сильнейший и Величайший, столькими триумфами прославленный за эти восемьсот двадцать лет! О Рима создатель, Квирин! Молю и заклинаю вас... пусть римские воины либо не совершат преступления, либо быстро раскаются в содеянном и не понесут никакого наказания» [30, т.2, С. 172].

Перед нами, пожалуй, первое в военной истории контрпропагандистское речевое воздействие, в целом правильно построенное по всем законам этого жанра.

Во-первых, оратор совершенно правильно обращает внимание слушателей, что цель вражеской пропаганды не благодеяния противнику, а минимизация своих потерь («с вами ведь даже не собираются сражаться»).

Во-вторых, пропаганде противника приписываются те цели, которые она не преследовала, с целью воздействия на воображения слушателей и «демонизации» противника («вы с оружием в руках ворветесь в родные дома»).

В-третьих, употребляются исключительно простые доводы, эксплуатирующие самые низменные страхи и предубеждения толпы (ксенофобия, например).

В-четвертых, в речи широко применяются средства выразительности (фигуры и тропы); речь ориентирована исключительно на чувства и эмоции слушателей.

Рассчитывать на успех в военных действиях мог теперь только военачальник, признаваемый солдатами, пользующихся у них популярностью и доверием. Достичь этого, помимо надежнейшего средства — денежных подарков — можно было, во-первых, только личным мужеством и решительностью, во-вторых, умело играя на чувствах толпы речью. Порой для того, чтобы обуздать мятежную толпу приходилось прибегать к целому спектаклю, как, например, Антонию Приму, который в наибольшей степени способствовал приходу к власти Веспасиана. **«Солдаты согласились выслушать только Антония; он один обладал нужным красноречием и умением ладить с чернью, один внушал настоящее уважение** (выделено нами — авт.). Видя, что бунт разгорается и что мятежники готовы перейти от крика и брани к драке и резне,... Антоний сорвал с пояса меч и, подставив грудь ударам солдат, стал клясться, что, если его не зарубят, он покончит с собой сам. Он обращался к самым известным и отличившимся в боях легионерам, называя их по именам, и требовал, чтобы они убили его. Повернувшись к боевым значкам с изображениями богов, Антоний молил их вдохнуть бешенство и дух раздора, владеющие его армией, в сердца неприятелей, молил до тех пор, пока бунт не начал иссякать» [30, т.2, С. 101].

Вместе с тем в эпоху ранней Империи солдатские добродетели времен Юлия Цезаря еще не были забыты, особенно в легионных войсках. Перед решающим сражением с войсками Цивилиса римский главнокомандующий Клавдий Цериал обращается к войскам **«с теми словами, которые могли особенно сильно подействовать на солдат** (выделено нами — авт.). Воинов четырнадцатого он назвал покорителями Британии; шестому напомнил, что лишь благодаря его могучей поддержке Гальба стал принцепсом; бойцам второго сказал, что начинающийся бой будет для них первым, что здесь им предстоит стяжать славу своему новому знамени и новым значкам когорт. «Эти лагеря — ваши, вам принадлежат эти берега, — воскликнул Цериал, обращаясь к легионам германской армии и обводя рукой окружающие поля. — Пусть же враги кровью заплатят за попытку лишить вас ваших владений» [30,

т.2, С. 184]. Несмотря на умелый учет особенностей этоса и, как можно судить, риторическую обработку речи, энтузиазм войск, по комментарию Тацита, во многом был вызван все той же надеждой на награды.

В галльском мятеже Ф.Ф. Зелинский усматривал причины распада империи, которые, невзирая на перемежающиеся периоды возвращения к здоровью, как например, во время правления династий Флавиев и Антонинов, череды «солдатских» императоров, таких как Септимий и Александр Северы, продолжали свое разрушительное действие. В число этих причин, помимо источников власти в преторианской гвардии и войске, Зелинский включал т.н. отсутствие «легенды» императорского имени, т.е. освященной династической традицией привычки к повиновению. Период стабильности как и более или менее продолжительное правление династии Юлиев — Клавдиев закончились со смертью Нерона, который постарался истребить всех людей, «в жилах которых текла кровь первого цезаря» [22, С. 195]. Последующая практика усыновления преемников, введенная императором Нервой, уже не обеспечивала в глазах солдат достаточной степени незыблемости авторитета власти.

Желание снизить риск кровавых междоусобиц, сопровождавших смену власти, привело к назначению императором (впервые при императоре Адриане) еще при жизни наследников, которым присваивался титул цезарей, носитель верховной власти именовался теперь только августом. Эта мера, по большей части, породила только болезненное недоверие и настороженность в отношениях августов и цезарей и привела, на наш взгляд, к умалению авторитета центральной императорской власти.

Неуклонное падение значения власти сената привело к тому, что после смерти Александра Севера власть захватил варвар Максимин (235—238), «первый из солдат, вступивший на престол исключительно по желанию воинов и без соизволения сената» [56, С. 59], а в правление императоров Валериана и Галлиена (253—268) с ними успешно существовали «тридцать тиранов», осуществлявших неограниченную власть в разных местах великой империи. «История» Евтропия пестрит фразами, свидетельствующими о калейдоскопической смене римских императоров: «убит взбунтовавшимися преторианцами», «убит взбунтовавшимися солдатами». К тому же в гражданских войнах, в которых римляне, по свидетельству Тацита, истребляли сограждан с куда большим ожесточением, чем к варваров гибли прежде всего аристократы и те «лучшие люди», которые слагают народ, если под именем народа понимать коллективную волю к развитию и совершенству.

О том как происходило избрание императоров и насколько их судьба зависела от воли войск говорит пример императора Проба (276—282), которого Флавий Вописк наделяет «великими доблестями». Этот типично «солдатский» император был выбран иллирийскими легионами, как только до них дошла весть о смерти императора Тацита, чтобы «опередить италийские войска, для того, чтобы сенат не смог вторично дать государя» [10, С. 303]. В послании в Рим к преторианской гвардии он писал: «Отказаться от дела, навлекающего на меня столько ненависти мне нельзя. **Я должен играть ту роль, которую навязали мне воины** (выделено нами — авт.)». И все же ни «великие доблести», ни удачливость в войнах с внешним врагом, ни даже блестящие развлечения, устраиваемые им для римлян не спасли Проба от смерти только потому, что он имел неосторожность использовать войска на тяжелых земляных государственных работах, полагая, что «воины не должны есть свой паек даром» и двусмысленно намекал, что «скоро мы не будем нуждаться в воинах» [там же]. Современный ему историк многозначительно восклицает: «Какое бы засияло счастье, если бы под властью этого государя не было воинов!... сам этот военный народ, который теперь терзает государство гражданскими войнами, пахал бы, занимался бы науками, обучался бы ремеслам...» [10, С. 310].

С исчезновением последних гражданских добродетелей римского народа связан и чрезвычайно характерный и закономерный упадок как гражданской, так и военной римской риторики. С падением Республики с форума и из сената постепенно исчезают и Цицероны. Римская политическая риторика сначала вырождается в судебную, а с переходом высшей судебной власти к принцепсу и вовсе находит прибежище в софистике и т.н. *declamatio* (декламации), которую, впрочем, по свидетельству Плиния Младшего, зачастую встречало «равнодушное отношение слушателей» [22, С. 334].

«Падение нравов» в обществе и моральное разложение армии в полной мере стало ощущаться в IV веке. Состояние духа римского войска, по Аммиану Марцеллину, в то время было поистине ужасающим: «Вместо бранного клича солдат распевал развратные песенки... Солдаты тогда позволяли себе наглость и грабежи в отношении своих сограждан, а перед неприятелем проявляли трусость и бессилие» [2, XXI, 3]. Это была уже не подлинно «римская» армия, комплектовалась она, в основном, за счет варваров; большую часть командных должностей занимали

германцы. Таковую армию в той же мере водил полководец, в какой она сама руководила полководцем.

На этом фоне памятником забытым исконным римским доблестям высится одинокая фигура императора Юлиана II (361—363), за свое кратковременное обращение к отеческому язычеству получившего от победившего христианства малопривлекательное имя Отступника.

Тем не менее это был, наверно, последний римский император, при котором римское войско ненадолго вспомнило о былых победах. Юлиан, как и его великий тезка, был с юности обуреваем высокими честолюбивыми мечтами о воинской славе: «В нем бушевала врожденная энергия, он слышал вокруг себя шум битвы, бредил поражениями варваров и уже готовился собрать воедино обломки провинции, если его появление на поле действий состоится в добрый час» [2, XVI, 1].

Этот высокий строй души ярко проявлялся в его военных речах. Аммиан приводит обращение Юлиана к войску еще в бытность его цезарем при императоре Констанции II. Перед сражением с алеманами при Аргенторате (357 г.), ввиду того, что противник (те же германцы) отстоял от него на 30 километров, и требовалось совершить марш в боевых порядках, Юлиан, собрав вокруг себя войско, произносит очень любопытную речь, с тем чтобы, как представляется, для начала выяснить состояние духа воинов, узнать с кем он идет в бой.

«Забота о нашем общем благе — чтобы выразиться как можно мягче — создает необходимость для вашего Цезаря, преисполненного в душе своей бодрости, убеждать и просить вас, мои боевые товарищи, чтобы вы, питая полную уверенность в нашей могучей храбрости, **предпочли поспешному и рискованному образу действия более безопасный путь к перенесению и отражению предстоящих нам опасностей** (выделено нами — авт.)... День приближается уже к полудню, а нас, ослабленных из-за утомительного перехода, ожидают трудные и темные тропинки, ночь на ущербе луны, не освещенная звездами, почва, опаленная зноем и не обещающая нам в поддержку никаких водных истоков. Допустим, переход не представит никаких затруднений: но что будет с нами, когда на нас бросятся полчища врагов, отдохнувших и подкрепившихся пищей и питьем? С какими силами встретим врага мы, истомленные голодом, жаждой и трудами? Своевременное распоряжение часто выручало в труднейших обстоятельствах, и при помощи разумного совета, благосклонно принятого, не раз спасала божеская помощь поколебавшееся уже положение дел. Так отдохнем же здесь,

под охраной рва, вала и расставленных сторожевых постов, подкрепим себя по мере возможности сном и пищей и подыдем — говорю с упованием на Бога — наших победоносных орлов и наши победные знамена, когда забрезжит дневной свет» [2, XVII, 12].

Конечно, трудно поверить, что с такой речью можно обращаться к каким бы то ни было солдатам, поэтому следует предположить, что это именно была некая провокация, разведка боем, имевшая целью «прощупать» настроение войск. То, что медоточивый тон речи был еще и искусно просчитанной манипуляцией, убеждает скрытое противопоставление бодрости самого полководца и его боязни утомить войска наряду с достаточно прозрачным намеком на необходимость тяжелых земляных работ по устройству военного лагеря (копания рва и насыпания вала), что для изнеженной армии представлялось хуже любого сражения.

Таким образом, приведенная речь представляет собой типичный косвенный речевой жанр, в терминах В.В. Дементьева [15, С. 259], реализующий принципы не прямой коммуникации. Юлиан стремился подтолкнуть войска к принятию собственного решения, подобно тому, как это сделал Цезарь при осаде Аварика (см. выше); примечательно, что солдаты и не дали полководцу закончить речь единодушным требованием немедленно вести их в бой.

Показательны, однако, для уяснения общей картины состояния духа и порядков в римской армии того времени, мнения командиров, высказанные на состоявшемся немедленно после обращения полководца к войскам военном совете. Префект претория посоветовал Юлиану начать сражение, мотивируя это тем, что если противник, паче чаяния, рассеется до боя, то их собственных солдат не удастся удержать от бунта: лишённые надежды на военную добычу они «могут решиться на самые опрометчивые поступки» [2, XVII, 12].

Обращает на себя внимание впервые встречающееся в военной риторике античности возлагание упования в благополучном исходе схватки на Бога и отсутствие призывов к воинской чести и доблести. Объясняется это тем, что солдаты Юлиана были уже в массе своей христианами, правда последователями учения Ария. В этом смысле речь — очень интересная иллюстрация грядущих перемен в человеческом сознании и мироощущении, которые в полной мере проявились уже в не столь далеком средневековье.

Когда же дело доходит до схватки, то Юлиан совершенно преобразуется. Он обращается с многочисленными, дышащими энергией реча-

ми и к бойцам, стоящим в первых рядах, и в задней линии, к новичкам и опытным воинам, соответственно боевым качествам каждого: «Вот, товарищи, настал давно желанный день, который побуждает нас всех вернуть римской державе подобающий ей блеск, смыв все прежние пятна позора. Вот они, варвары, которые в своей ярости и диком безумии отважились выступить навстречу нашей доблести на гибель себе» [2, XVII, 12].

Здесь мы видим вполне традиционное для римской военной риторики использование *героического* пафоса; вселяющее уверенность, вдохновляющее воззвание к доблести воинов. Однако в опасный момент бегства с поля боя собственной кавалерии «как обычно поступают при сомнительных обстоятельствах Цезарь высказал им свой упрек в мягкой форме: «Куда это, храбрецы, мы отступаем? Или вы не знаете, что бегство, которое никогда не приносит спасения, показывает только глупость тех, кто делает столь бесполезную попытку? Вернемся к нашим, чтобы хоть разделить их будущую славу, если мы их неразумно оставили в их борьбе за благо государства» [там же]. «Этими мягкими словами он вернул всех к исполнению воинского долга», — замечает Аммиан. Эта вынужденная «мягкость» — дань тлетворному духу времени, которым не могли уже пренебрегать самые лучшие военачальники. Действительно, ругать и стыдить нестойких духом людей в критической ситуации бессмысленно: они окончательно падут духом. Остается только сколь возможно успокоить и приободрить их типичным «увещанием».

В том, что тексты речей, приводимые Аммианом Марцеллином, подлинны — сомневаться не приходится, поскольку его предельно натуралистичное описание битвы дает основание думать, что «солдат и грек» (как сам он писал про себя) был ее очевидцем. К сожалению «ренессанс» римской военной риторики при Юлиане был кратким и не отразился на процессе общего упадка военного красноречия античности. В немалой степени это объясняется тем, что удачливые, популярные в



Рис.9. Юлиан

войсках полководцы попросту боялись излишне привлекать к себе внимание и любовь солдат, имея за спиной ревнивые взгляды императора и наушничество дворцовой клики. Об этом прямо упоминает Аммиан, говоря, что Юлиан при Аргенторате не обращался ко всему войску, потому что «хотел избежать тяжкого обвинения, будто он посягает на то, что рассматривал как свою прерогативу Август» [2, XVII, 12]. Зато весь блеск его военного красноречия проявился во время кратковременного правления, когда он, уже император, произнес прекрасную речь перед началом последнего для него Персидского похода.

«Храбрые мои солдаты! Видя, что вы полны силы и бодрости, я решил обратиться к вам с речью, чтобы доказать вам разнообразными аргументами, что не теперь впервые, как нашептывают мои зложелатели, проникли римляне в Персидское царство. Не стану говорить о Лукулле или Помпее, который, пройдя через земли албанов и массагетов и видел Каспийское море... Из этой страны вернулись с победами и трофеями Траян, Вер, Север... Стремление к великим делам побудило этих государей совершить достопамятные подвиги. А нас призывают к этому предприятию горестная судьба недавно завоеванных городов, неотомщенные тени воинов погибших армий, страшные потери, утраты близких. Обеты всех побуждают нас уврачевать беды прошлого и, обеспечив за государством безопасность на этой границе, оставить потомству материал для прославления нашего имени. С помощью бога вечного буду я с вами повсюду, как полководец со счастливыми, как надеюсь, ауспициями, и как воин, то впереди пешего строя, то в рядах наступающей конницы. А если изменчивая судьба застигнет меня в бою, с меня будет довольно того, что я пожертвовал собой за римский мир подобно древним Курциям, Муциям и славному роду Дециев. Мы должны уничтожить этот враждебный нам народ, на мечах которого еще не высохла кровь наших близких. Много поколений одно за другим проходили у наших предков, прежде чем они наконец истребляли тех, кто был их врагом. ... В заключение я даю обещание: после благополучного окончания этого похода, отказавшись от прерогативы государей, которые в силу своей власти считают справедливым все, что они скажут или постановят, дать отчет всякому, кто потребует, о своих удачных и неудачных мероприятиях. **Поэтому воспряньте, прошу вас, воспряньте духом в предчувствии грядущих успехов** (выделено нами — авт.). В равной мере со мной примите вы на себя трудности, которые выпадут нам на долю, и будьте уверены, что победа всегда оказывается на стороне правды» [2, XXIII, 12,].

Аммиан отмечает, что эта пророческая для самого Юлиана (смертельно раненого в одной из первых стычек с персами) речь произносилась им бодро, с радостным выражением лица, и была принята с воодушевлением солдатами, кричавшими, что для них нет опасностей и трудностей под началом императора, который берет на себя большие труды, чем возлагает на них.

Эта речь представляет в миниатюре все лучшие достижения военной риторики античности: вся она, начиная с обращения, проникнута высоким, грозным и трагическим *героическим* пафосом. Речь блестяще риторически разработана. Использована риторическая фигура *перехода* (по Я.В. Толмачеву), когда оратор, делая вид, что умалчивает об общеизвестной важности событий или обстоятельств, на самом деле переходит к восхвалению и возвеличиванию их значения («не стану говорить о Лукулле или Помпее...»). Многочисленны градации и тропы. Хорошо подобраны примеры доблести воинов и таланта полководцев из веков прежней римской военной славы. Напоминание о настоящих бедствиях и поражениях умело использовано как мотив для разжигания ненависти к врагу и призыв к кровавой мести. Наконец, не забыт и личный пример полководца, обещающего разделять опасности наравне с солдатами. Этот, в общем-то, лишний в обращении к дисциплинированному, твердому духом войску пассаж, наряду с упоминанием о готовности нести ответственность за ошибки (!), есть уступка, лишний раз свидетельствующая о том, что воины Юлиана были уже далеко не теми, что воины Юлия. Отсюда становится понятным то отчаянное воззвание, почти заклинание воспрять духом, прорвавшееся к концу речи их императора.

Речь эта, подобно последнему лучу заходящего солнца, ярко озаряет тысячелетнюю историю римской военной славы, но она не в силах была изменить неотвратимый приговор Истории, судившей новым народам, исповедующим новые идеи и ценности, строить государства и утверждать престолы на развалинах Римской империи.

Со смертью Юлиана (363 г.) умерла и бесплодная надежда на возрождение былого римского военного красноречия. Уже менее чем через год после его гибели новым императором стал трибун гвардии Валентиниан, столь же всецело зависящий от солдатского расположения, как и его предшественники. Только что провозглашенный императором он счел необходимым первым делом униженно благодарить войско за свое избрание.

«Храбрые защитники провинций! Я счастлив, горжусь и всегда буду гордиться тем, что вы, столь заслуженные и достойные люди, вверили мне, который никоим образом этого не ожидал и не добивался, управление римским миром, как достойнейшему из всех. Задачу, лежавшую на вас, пока не был еще избран новый правитель государства, вы исполнили славно и с пользой для дела вы поставили на вершине почестей того, кто с ранней юности и до этих зрелых лет своего века жил, как вы то сами видели, доблестно и безукоризненно. Так выслушайте же, прошу вас, спокойно то, что я считаю полезным в интересах общественного блага. Необходимость избрать товарища с равной властью обуславливается множеством мотивов, в этом я не сомневаюсь и не возражаю против этого: я сам, как человек, испытываю страх перед множеством забот и переменчивостью счастья. Но ведь долг наш — всеми силами ратовать за согласие, благодаря которому получает силу и самое слабое дело. Оно будет без труда достигнуто, если вы с подобающим доверием полностью предоставите мне то, что принадлежит мне по праву. Судьба, способствующая благим советам, насколько осуществление этого дела в моих силах и власти, даст нам в тщательных розысках подходящего человека. Как учат мудрецы, не только в делах управления, где опасности столь велики и столь часты, но и в нашей частной, обыденной жизни, каждый должен делать другом чужого человека лишь после суждения о нем, а не судить его тогда, когда он им стал. Это обещание даю я вам с надеждой на лучшее будущее; а вы храните твердость и верность; пока позволяет спокойствие зимы, укрепляйте силы тела и духа. Обычный дар по поводу избрания Августа вы получите без промедления» [2, XXVI, 2].

Грубая лесть и жалкое заигрывание с солдатами были теперь уделом людей, номинально повелевавших большей частью цивилизованного мира. Обращение к войску утратило характерные черты военной риторики и стало больше походить на типично придворное красноречие, полное недомолвок, уклончивости, направленное на то, чтобы по возможности «заболтать» пустопорожными рассуждениями важное дело, чтобы затем незаметно решить его без опасения прямого участия и возмущения войск. Так, велеречивые разглагольствования Валентиниана о переменчивости счастья и неудобопонятное рассуждение о том, когда подобает судить о человеке имели целью только отвлечь возбужденных воинов от идеи тут же назначить ему соправителя. Соответственно этому удлиняются периоды речи, делаются темными софистические силлогизмы, недоступные

пониманию необразованной толпы. На первый план в восприятии речи выходит благожелательность тона и усыпляющая плавность оборотов, оставляющая у слушателей впечатление, что они хозяева положения, а потому с требованиями можно и потерпеть, посмотрим, что будет дальше, всегда успеется и т.д. и т.п.

Этими речами можно было обманывать собственных солдат, но ими невозможно было вести их в бой. Превращение армии в буйную толпу, страшную только мирным согражданам и бессильную перед лицом внешнего врага, оскудение истинно римского духа завершило агонию централизованного римского государства. Не случайно правление Валентиниана I стало временем пока еще номинального разделения власти с его младшим братом Валентом, разделения, которое впоследствии проложило путь распаду великой империи на Восточную и Западную половины, постепенному ослаблению и завоеванию их молодыми варварскими народами.

\* \* \*

Римская военная риторика имперского периода за столетия своего существования продемонстрировала все достоинства и недостатки своего этоса. Профессионализация римской армии с одной стороны открыла простор воспитанию и проявлению в солдатах истинно воинского духа, а с другой — повлекла за собой обособление интересов воинов от интересов гражданского общества. Этот дуализм усугублялся отмечаемой Моммзеном в его «Истории Рима» [45, С. 247] все возрастающей капитализацией римского общества, глубокое имущественное расслоение которого привело с течением времени к девальвации прежних республиканских ценностей, упадку духа гражданственности и патриотизма. Процесс капитализации оказывал губительное действие на все, так сказать, идеальные (а затем и материальные) стороны жизни Рима, не обошел он и римскую военную риторику.

Потеря связи с отечественной историей, культурой и обычаями народа (вследствие падения престижа службы для коренного италийского населения и всеобщей «варваризации» армии) пагубно сказывается на пафосе речей. Полководцам и императорам становится трудно увлечь чуть романизированных варваров апелляцией к славной истории и воинской доблести предков римлян. *Героико-патриотический* пафос речей постепенно подменяется пафосам искания сначала личной воинской чести, а затем и материальной выгоды, привилегий и вседозволенности.

Армия перестает служить гражданскому обществу, частью которого она окончательно отказывается себя считать и занимает откровенно паразитическую позицию по отношению к государству. Воинский дух сначала подменяется корпоративным, а затем исчезает вовсе. На закате существования Империи, как мы видим, практически исчезает и военная риторика. Наряду с прекрасной, благодаря трудам выдающихся риториков, прежде всего Цицерона, техникой риторической разработки речи исчезает всякий нравственный дух, оживотворяющий ее.

По словам Я.В. Толмачева «Сия сила (армия — авт.) страшна для врагов, надежна для правительства и граждан только тогда, когда нравственный дух оживляет воинов и соединяет их чувствованием любви к отечественной стране, к ее вере и законам. Войско, неодушевленное сею нравственною силою, есть слабая опора государств, есть чуждая и самая тягостная часть в общественном здании; оно, как видим из истории, лишась сей внутренней жизни, превращается в буйную толпу преторианцев, янычар и стрельцов» [65, ч.2, С. 1].

Катастрофа, постигшая Римскую империю, и кризис римской военной риторики были взаимообусловлены, что как нельзя лучше иллюстрирует тесную диалектическую взаимосвязь, прослеженную академиком Ю.В. Рождественским [58], между государственным устройством и речевой организацией общества.

# ГЛАВА 5. ВОЕННАЯ РИТОРИКА ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

## 5.1. Военная риторика Древней Индии

Говоря о военной риторике таких древних народов как индийский и китайский, казалось, естественно было бы ожидать огромного жанрового многообразия и богатой примерами истории военных речей. Однако исследования военной риторики Древней Индии наталкиваются, прежде всего, на практическое отсутствие материалов в переводной исторической литературе и неразработанность этой темы в собственно индийской литературе. Опираясь в этом случае приходится на знаменитое произведение индийского героического эпоса «Махабхарату» — книгу, вобравшую в себя по ее собственному утверждению все или почти все знания о мире богов и людей. Самодостаточность и необъятность «Махабхараты» может в какой-то степени объяснять отсутствие летописной литературы в обществе с чрезвычайно сильно развитыми традиционалистскими устремлениями, таком как индийское.

В этом случае исследователю военной риторики не остается ничего другого как обратиться к «Махабхарате». И мы не будем разочарованы, поскольку «Махабхарата» представляет собой, фактически, энциклопедию древнеиндийского военного искусства, в котором можно найти множество интересных свидетельств речевой подготовки и сопровождения войск.

Эта героическая поэма посвящена описанию грандиозной восемнадцатидневной битвы, датируемой XI в. до н.э., между племенными союзами Пандавов и Кауравов на поле Курукшетре. Из восемнадцати книг, содержащих сведения об этой борьбе, наибольший интерес представляет шестая книга эпопеи «Бхишмапарва» (книга о Бхишме — легендарном герое, сражавшемся на стороне Кауравов), в которой перечислены события первых десяти дней сражения.

С первых строк «Бхишмапарвы» становится ясным какое большое значение придавалось древнеиндийским военным искусством моральному духу войск: **«И в малочисленном, и в великом войске бодрость воинов полагается верным знаменем победы»** (выделено нами. — авт.). Один павший духом приводит в смятение даже очень большое войско, вслед за ним, павшим духом, теряют мужество и нахрабрейшие воины» [41, С.16]. Поэтому в диалогах мудреца Вьясы, которому

приписывается авторство «Махабхараты», посвященных условиям достижения победы указывается, что **«Когда речи воителей радостны, о Бхарата, и сами они исполнены решимости... — они одолевают в битве врагов... когда постоянно веселы воины, победа им обеспечена (выделено нами. — авт.)»** [там же].

В соответствии с этими теоретическими установками перед началом сражения герой Бхишма обратился к предводителям Кауравов с речью: «Вот пред вами, о кшатрии, открыты великие врата на небеса! Ступайте же тем [путем] соединиться в одной обители с Шакрой и Брахмой. То вечный ваш путь, проложенный предками в древние и древнейшие времена. Поддержите же честь свою, невозмутимые духом в бою!... Грех для кшатрия — умереть от болезни дома; принять смерть в бою — непреложный долг его!» [41, С. 40].

В этой речи прежде всего мы видим причудливое сочетание *героического* и *религиозного* пафосов. *Героический* по форме, основанный на призывах к личной и кастовой чести воинов, пафос, благодаря особенностям индуистской религии, обещает им вечную награду на небесах, что несомненно роднит его с *религиозным* пафосом христианства и ислама, получившим развитие в период Средневековья.

О преобладании *религиозного* пафоса в героическом эпосе Древней Индии свидетельствует ответ героя Арджуны предводителю Пандавов Юдхиштхире, уstraшенного многочисленностью войска Кауравов: «Не столько силою и храбростью побеждают стремящиеся к победе, как правдою и милосердием, исполнением долга прежде всего и усердием. Отрешившись от несправедности, от алчности и от заблуждения, неутомимые в усилиях, сражайтесь, чуждые себялюбия. **Где праведность, там победа!** (выделено нами. — авт.)» [41, С. 46]. Категория справедливости, понимаемой как божественное воздаяние за праведность — отличительная особенность *религиозного* пафоса. Ни в Древней Греции, ни в Риме мы не встречаем такого толкование понятия справедливости, несмотря на то, что вся риторика Аристотеля стоит на топосе *естественной* справедливости.

Как всегда религиозное сознание очень чутко к справедливости целей борьбы. Только у древнеиндийских эпических героев, в отличие от средневековых христианских и мусульманских воинов, для которых личная праведность выступала основанием помощи Божией в воинских трудах, справедливость целей борьбы служит залогом прежде всего собственного душевного спасения, в терминах христианства.

Знаменитая «Бхагавадгита», входящая самостоятельным трактатом в «Бхишмапарву», по форме представляет собой убеждение величайшего героя Пандавов Арджуны его божественным колесничим Кришной-Васудевой в том, что долг кшатрия превышает родственных и человеческих привязанностей (а если смотреть шире — то и «общечеловеческих» ценностей в терминах XX в.). Арджуна, видя в рядах противников родственников и просто выдающихся мужей, выразил сомнение является ли праведным убийство такого количества несомненно достойных людей, и не послужит ли таким образом его участие в битве увеличению духовной «энтропии», которая, в конечном счете, приведет к умалению нравственности и гибели человеческого рода. Благочестивые размышления Арджуны даже приводят его к мысли о том, что лучше погибнуть самому, чем согрешить убийством ближнего и тем способствовать умножению беззакония на земле.

И тогда Кришна-Васудева вынужден был осуществить воспитательное воздействие с тем, чтобы не допустить падения боевого духа лучшего воина Пандавов, а вместе с ним и всей армии. «И уже ради соблюдения долга не должен ты колебаться. Нет для кшатрия высшего блага, чем праведная битва. И счастливы те кшатрии, о Партха, коим выпадает на долю подобная битва, что отверзает для них врата небес. А если ты от этой праведной войны уклонишься, то, от своего долга и от славы отрекшись, грех навлечешь на себя. И накличет на тебя людская молва бесславие навсегда, а для уважаемого человека бесславие — хуже смерти. Либо, убитый, ты обретешь небо, либо, победив, будешь властвовать над землею; поэтому, на битву решившись, воспрянь, о сын Кунти!» [41, С. 52-53].

Обращает внимание то, что в убеждающем речевом воздействии бога (!) преобладают аргументы, основанные на ценностях *героического* пафоса. Кришна не вдается в тонкости ведической религии, но убеждает воина с помощью вполне доступных его пониманию, осязаемых понятий долга, чести и славы. Исполнение воинского долга понималось индуистской религией как следование врожденным качествам человеческого естества, определяемым принадлежностью к варне кшатриев. Все рассуждения при этом обильно сдабривались порцией типично восточного фатализма. «Храбрость, отвага, стойкость, умелость, а также неустрашимость в бою, щедрость и природная властность — такое деяние [предназначено] кшатрийству, происходящее от его естества. Лучше неуклюжее исполнение собственного долга, чем чужого долга хорошее. Своей

природой обусловленное деяние исполняющий не впадает во грех. Если, самости поддавшись, мыслишь ты: «Не буду сражаться!» — тщетно это твое решение, природа принудит тебя. Связанный своим деянием, собственным естеством порожденным, то, что в ослеплении своем ты делать не хочешь, о сын Кунти, сделаешь и помимо воли» [41, С. 90].

Последующие слова Кришны также ясно указывают на то, что основания исполнения воинского долга виделись индуистской религией не в нравственном выборе, не в жертвенности воинского служения согражданам и отечеству, что характерно для античной философии, а в... фатализме.

«Я есмь Время, — отвечает Кришна на просьбу Арджуны назвать свое истинное имя, — разрушение мира творящее, назревшее, к уничтожению здесь людей тяготеющее. И помимо тебя существовать перестанут все эти воины, противостоящие во враждебных ратях друг другу. Потому воспрянь и славу обрети. Врагов победив, владей процветающим Царством! Мною они уже прежде убиты, ты лишь орудием будь, о Савьясачин!» [41, С.76].



Рис. 10. Кришна и Арджуна

Таким образом, в плане морально-психологического обеспечения боя древнеиндийский эпос вполне может рассматриваться как предтеча римских и византийских военных трактатов раннего средневековья. В философско-этическом плане диалог Кришны и Арджуны решительно трактует знаменитый толстовский вопрос о непротивлении злу насиле-ем в пользу насилия. Впрочем, сам Арджуна смутно осознает, что его позиция уязвима уже в самом начале диалога: «Жалости **грех** (выделено нами. — авт.) сокрушает мой дух» [41, С. 92].

В плане подготовки войск к бою «Махабхарата» решает две главные задачи: преодоление страха убивать и страха быть убитым. В отличие от «Илиады», исполненной *героического* пафоса и решавшей, в сущности, те же задачи, в «Махабхарате» преобладает пафос *религиозного* фатализма. Указания в военных речах на предопределенность и обусловленность человеческого существования призваны были освободить сознание индийских воинов от проблемы нравственного выбора в пользу справедливой борьбы, а вместе с ним от обоих упоминавшихся выше страхов.

Краткие речи полководцев, обращенные к войскам в критические моменты сражения, естественно, уже не претендуют на мировоззренческую всеохватность, они содержат лишь призывы доблестно исполнить свой долг: «Куда бежите вы, кшатрии? Не в этом долг праведных, заповеданный древними! Не забывайте обета своего, о мужи, исполните свой воинский долг!» [41, С. 131].

В «Бхишмапарве», единственном из известных нам произведений героического эпоса, очень выразительно описываются даже реплики простых воинов, создающих непередаваемую атмосферу погруженности в самую гущу боя.

«Некоторые [воины], пораженные стрелами, смертную муку терпя, бесстрашно с оружием бросались в схватку на врагов. Другие, восклицая: «Отец! — Брат! — Друзе! — Родич! — Товарищ! — Дядя мой! — Не покидай меня!» — падали на поле битвы. «Поспеш! — Подойди! — Не беги! — Чего ты боишься? — Куда ты сбежишь? — Выстою в бою! — Не бойся!» — восклицали еще другие» [там же]. Как видим, в этих репликах нет и намека на *религиозный* пафос.

*Героический* эпос «Махабхараты» нарушил бы законы жанра, если бы не содержал описаний многочисленных сцен поединков героев. В плане исследования особенностей древнеиндийской военной риторики представляет интерес тот факт, что поединкам весьма часто предшествует словесная перепалка, реализующая рассмотренный нами в

первой главе жанр боевого вызова. Подобно героям Гомера сходящиеся на поле боя Бхишма и герой Пандавов Шикхандин осыпают друг друга почти ритуальными насмешками.

«Бхишма,... увидев, что это Шикхандин, разгневанный, не захотел, однако, [с ним сражаться] и так молвил, усмехаясь: «Будешь ли ты разить или нет, ни за что не стану я с тобой сражаться. Ибо как Творец тебя создал, так и [остался] ты Шикхандини». Выслушав эти слова его, Шикхандин, вне себя от гнева, сказал Бхишме на поле боя, облизывая губы: «Я знаю тебя, кшатриев истребителя, о мощнорукий! Слышал я ... что [обладаешь] ты божественной силой. Но и зная о силе твоей, я буду с тобой сражаться!... И непременно я убью тебя, воистину клятву в том даю пред тобою! Вняв речи этой, что подобающим мне [полагаешь], то и делай. Будешь ли ты разить или нет, живым ты не уйдешь от меня! Посмотри хорошенько, о Бхишма, на этот мир [в последний раз], о победоносный в боях!» [41, С. 242-243].

Суть насмешек Бхишмы легко понять, если учесть, что Шикхандин по преданию сотворен был женщиной, но впоследствии предпочел стать мужчиной. Именно на это намекает Бхишма, присоединяя к имени Шикхандина окончание женского рода. Заметно, что «стрела» попала в цель, и противник совершенно вышел из себя. О том, что жанр боевого вызова преследовал именно эту цель, говорят следующие строки: «Сказав это, пятью стрелами, крепко слаженными, пронзил он (Шикхандин. — авт.) тогда в бою Бхишму, о царь, **речами-стрелами** (выделено нами. — авт.) [уже] уязвленного» [там же].

Помимо эпоса, богатого примерами практического применения военной риторики в Древней Индии, речевое обеспечение военных действий, наряду с прочими вопросами государственного и военного управления, подробно регламентировано в трактате «Артхашастра». Мнения специалистов об авторстве и времени написания трактата весьма различны. Трактат мог быть написан как Каутилей — советником царя Чандрагупты (время правления 317–293 до н. э.) и датироваться IV в. до н.э., так и иметь коллективное авторство; в этом случае время окончания составления трактата относится к II–III вв. Вопрос датировки далеко не праздный. Помимо подтверждения исторической достоверности трактата, которая, впрочем, ни у кого из исследователей не вызывает сомнения, разрешение его позволяет, сравнивая рекомендации трактата с эпосом, сделать выводы, важные для понимания эволюции военной риторики Древней Индии.

Итак, третья глава «Артхашастры» предписывает следующий порядок подготовки войск к сражению:

«Что же касается сражений, то имеющий (соответствующие) достоинства (государь), указав время, место и (предстоящее сражение), собрав войско, должен сказать: «Мое благосостояние одинаково с вашим. С вами вместе это царство должно быть использовано мною. Мною указанный враг должен быть уничтожен». (Его же советник и домашний жрец пусть скажут для воодушевления войска): «И в ведах тоже говорится, что по окончании жертвоприношений, сопровождаемых богатыми дарами (в пользу жрецов), тому, кто совершает жертвоприношения, уготован тот же самый путь (в миры), который существует для героев (павших в бою)».

По этому поводу имеются два стиха:

«То, что брахманы, желающие неба, получают многими жертвами и покаянием, а также с помощью богатых даров достойным лицам, то в одно мгновение получают герои, отдающие жизнь в сражении.

Да не будет нового глиняного корыта, наполненного водой, украшенного сверху травой дарбха, у того, кто не сражался, хотя и имел поддержку от господина. Ему следует идти в ад» [6, С. 418].

Начало почти как в современном уставе об обязанностях командира перед построением и в строю: «... указать время, место, порядок построения...» (Строевой устав, ст. 25). Да и продолжение выдержано во вполне приказном тоне. В трех строках обращения царя к войскам слово «должен» использовано дважды. Фактически перед нами форма отдания распоряжения на битву, но уж никак не традиционное «ободрение» или «увещание», столь характерное для военной риторики европейских народов.

Немногим отличается от речи царя и «воодушевляющее» воздействие его домашнего жреца. Несмотря на то, что выступление священнослужителя перед войсками явление неведомое для военных обычаев Древнего мира, оно еще совершенно не использует заложенного в религии убеждающего потенциала. Ссылка на высокую ценность в глазах божества жертв воинского служения суха, не развернута, эмоционально не окрашена. Ко всему прочему выступление жреца нагоняет тоску упоминанием об аде, ожидающем нерадивых.

Тем не менее перед нами первое в военной истории упоминание о суровых *духовных* санкциях в отношении проявляющих трусость в

бою. Религия обещает таковым, что божество не будет принимать их жертвы; в древнеиндийском сословном теократическом обществе это фактически означало отверженность человека.

В словах жреца звучит невероятный для IV в. до н.э. (в соответствии с первой теорией датировки документа) намек на некий вариант вассальной верности кшатрия господину, что для этого периода (условно соответствующему периоду походов Александра Македонского) повторимся, представляется совершенно невыносимым. Заметно также практически полное исчезновение из рекомендованных «Артхашастрой» текстов военных речей *героического* пафоса по сравнению с речами эпических героев «Махабхараты» и замена его почти исключительно пафосом *религиозным*. Это обстоятельство говорит в пользу второй теории о более позднем времени происхождения трактата, поскольку преобладание *религиозного* пафоса в военных речах в наибольшей степени характерно для периода Средневековья.

Это однообразие пафоса, которое можно в определенной степени рассматривать как слабость древнеиндийской военной риторики, видимо, осознавалась и создателем (или создателями) «Артхашастры». Компенсировать ее предполагалось усилением множественного и многоуровневого речевого воздействия. Говорить с войсками в соответствии с этой идеей предлагалось практически всем.

«Так должны поддерживать сражающихся советник и верховный жрец. Пусть астрологи и другие (спутники царя) поднимают дух у своих войск (указанием) на их превосходство, повсюду объявляя о том, что сила (царя) во всеведении и в единении с божеством... Певцы и барды должны воспевать небо, а трусов (страшать) адом, так же как и восхвалять касты, сообщества, род, дела и поведение сражающихся.

Люди, связанные со жрецами, должны говорить о магии. Агенты, плотники и астрологи — об успехах своего дела и о неудачах вражеских» [6, С. 419].

Не вполне, правда, понятно каким образом могли воодушевить идущих в бой плотники, сообщая им «об успехах своего дела», но замысел достаточно ясен: о грядущей победе должны говорить все, для того, чтобы воинам передавалась общая уверенность в успехе дела.

Фактически, это означало широкое применение в армии средств пропаганды, в терминах XX века. Пример военной риторики Древней Индии подводит нас к очень важному выводу: **необходимость пропаганды и ее значение существенно возрастают в условиях**

**слабости или недостаточности вдохновляющего речевого воздействия со стороны военного управления.** Можно даже сказать, что необходимость пропаганды и обусловлена недостаточностью командного речевого воздействия. Чтобы закрепить результат пропагандистского воздействия «Артхашастра» рекомендует задействовать материальные стимулы, причем так, чтобы они также становились одним из элементов пропаганды.

«Главный военачальник, ублажив войско деньгами и почестями, должен обратиться к нему со следующими словами: «100 000 пана за убийство (вражеского) царя 50 000 — за убийство полководца и царевича-наследника. 10 000 — за убийство главы храбрецов. 5000 — за уничтожение слона и колесницы. 1000 — за уничтожение коня. 100 — за убийство главы пехоты, 20 — за голову (убитого простого воина). К тому, что захвачено прибавляется двойная плата». Это должно стать известным начальникам десятков» [там же].

И опять перед нами речь, вполне возможная в устах римского императора периода упадка империи, какого-нибудь Максимиана или Валентиниана перед своими преторианцами, чью преданность он благоразумно покупает, но совершенно немыслимая в устах полководца, сражающегося за родину. Период правления Чандрагупты Маурьи (IV в. до н.э.) был периодом активной борьбы с вторжением внешнего врага в лице Александра Македонского. К тому же этот период сопровождался кризисом традиционного индуизма и борьбой его с оппозиционными течениями буддизма и джайнизма, которые существенно поколебали господствующее положение варны брахманов в древнеиндийском обществе. В «Артхашастре», тем не менее мы не находим отражения этих процессов. Наоборот, трактат рекомендует царю перед сражением «поручить себя также (заботам) брахманов» [6, С. 418].

Из всего вышесказанного следует, на наш взгляд, вывод о том, что «Артхашастра» может быть датирована, согласно второй теории, II—III вв., времени относительно безопасного развития Индии и стабильности ее общественных институтов.

\* \* \*

Таким образом можно констатировать, что древнеиндийская военная риторика со времени своего возникновения на страницах героического эпоса «Махабхараты» в VII в. до н.э. (первая редакция поэмы) до

II—III вв. христианского летоисчисления (времени написания «Артхашастры») претерпела существенные изменения.

В период XI—VII вв. до н.э. развитие древнеиндийской военной риторики шло весьма своеобразно. В военных речах, как следует из анализа текстов эпических произведений, сосуществовали *героический* и *религиозный* пафосы. Исполнение воинского долга, в основном, понималось как священная обязанность следования божественному предопределению, снабдившему человека врожденными качествами и предназначавшему, таким образом, его судьбу. Мужественное поведение на поле боя для кшатрия означало его участие в божественном замысле мироустройства, влекущее нетленную награду на небесах, а проявление трусости вело к отрицанию воли бога, что автоматически переводило воина в разряд отверженных не только государственными институтами, но и религией.

Понимание воинского долга как формы исполнения религиозных обязанностей исключала всякую привязанность воинов к «земному», вот почему в эпических поэмах мы не находим и следа столь характерного для греческой и римской военной риторики *патриотического* пафоса борьбы за родину.

Своеобразно использовались в древнеиндийской риторике средства выразительности речи. Истинно восточную пышность слога придают речам героев яркие эпитеты и особенно многочисленные метонимии, как например, в речи Бхишмы перед его поединком с богом Кришной: «Приди, приди, о владыка богов, чья обитель — вселенная! Слава тебе, о ты, несущий лук Шарнга и диск в руках! Одолев, повергни меня в бою, о владыка миров, с лучшей из колесниц, о покровитель существ! И здесь, и в ином мире благо будет мне, убитому сегодня здесь тобою, о Кришна. Удостоен я почета о вождь андхаков и вришнейцев, в трех мирах, о герой, нападением твоим!» [41, С. 134]. Из стилистических фигур наиболее часто встречаются риторические вопросы, в то время как повторы и градации нечастотны настолько, что можно говорить об их практическом отсутствии.

С уходом в прошлое героического века из военных речей уходит и *героический* пафос, вытесняемый по словам В.Г. Эрмана «носителями нового мировоззрения, запечатленного наиболее ярко и определенно в «Бхагавадгите». Использование в речах такого мощного пафоса как *религиозный* напрочь исключала необходимость для военных ораторов применяться к насущным требованиям и интересам этоса, что являлось,

как мы видели, отличительной чертой военной риторики европейских народов. Однако одна индуистская религия, опирающаяся на категорию кастового долга и основанный на ней *религиозный* пафос военных речей, не обладали достаточной силой вдохновляющего воздействия, чтобы подвигнуть войска на принесение кровавых жертв на поле боя.

Рассуждения о долге и награде за выполнение долга ничего не дают образно-эмоциональной сфере человеческой личности. Между тем, как показывают многочисленные примеры из военной истории античности, то, ради чего воины приносят себя в жертву, всегда должно быть персонафицировано, облечено, так сказать, в плоть и кровь, будь то любимый вождь, родной город или семья и близкие. К тому же служение одному только богу до определенной степени нивелирует значение полководца и харизматическое влияние его личности.

Именно поэтому к II—III вв., когда окончательно иссякает *героический* пафос военных речей, *религиозный* пафос «Артхашастра» рекомендует полководцам поддерживать многоуровневым воздействием возможно большего числа речедейателей. С этой же целью используется на первый взгляд несовместимое с «идеальным» пафосом обещание материального стимулирования воинов перед предстоящим сражением.

Таким образом, относительная бедность пафосов древнеиндийской военной риторики и отсутствие стремления военных ораторов учитывать особенности этоса закономерно приводили к снижению *интенсивности* речевого воздействия полководцев на войска, что предлагалось компенсировать *экстенсивным* путем (пропагандой) и неречевыми средствами.

## 5.2. Военная риторика Древнего Китая

При изучении, сразу оговоримся, очень короткой истории развития военной риторики Древнего Китая мы сталкиваемся с удивительным феноменом отсутствия национального китайского героического эпоса — чуть ли не единственным случаем в истории великих народов. Это наводит на мысль об относительной нивелировке ценности отдельно взятой человеческой личности в традиционной китайской культуре и китайском менталитете.

Подтверждение этому тезису мы находим в китайской историографии. Можно сказать единственная (!) военная речь китайского полководца донесенная до нас семитомными «Историческими записками»

Сыма Цянь относится к XI в. до н.э. Безусловно, огромный отрезок времени, отделяющий период становления династии Чжоу от времени жизни историка (II—I в. до н.э.), позволяет усомниться в подлинности приведенных им речей и высказываний государственных и военных деятелей и считать их в определенной степени компиляцией из более поздних источников. Так Р.Я. Вяткин полагал, что «Сыма Цянь старательно использовал для этого главы *Шан шу*, гимны *Ши цзина*, *Го юй* и другие более поздние сочинения, в которых дана оваянная легендами, главным образом конфуцианская интерпретация давних событий» [62, С. 107-108].

Однако все современные исследователи труда Сыма Цяня согласны в его исключительной научной добросовестности, а также в том, что сведения, сообщаемые им об истории эпохи Инь (предшествующей Чжоу), находят подтверждение в результате археологических исследований. Это позволяет нам, не входя в подробное обсуждение достоверности речи основателя чжоуской династии полководца У-вана (время правления 1122—1115 гг. до н.э.), рассматривать его обращение к войскам в битве при Муе (1027 до н. э.) как образец китайской военной риторики эпохи Чжоу (XI—III в. до н.э.).

Речь У-вана в китайской историографии именуется *клятвой*. Своеобразие этой очень любопытной речи таково, что позволяет действительно отнести ее к отдельному жанру, характерному для китайской военной риторики.

«У-ван [выступил] и утром прибыл в Мую, в окрестностях [столицы] Шан, где принес клятву. В левой руке У-ван держал желтую секиру, а правой рукой сжимал белый бунчук, чтобы давать команду. [Ван] сказал: «Далеко мы [зашли], люди западных земель!» — и продолжал: «О! Вы, высокие вожди, владеющие землями, начальники приказа просвещения, военного приказа и приказа общественных работ, чиновники, начальники стражи, тысячники и сотники, люди [царств] Юн, Шу, Цян, Моу, Вэй, Лу, Пэн и Пу, поднимите ваши копья, подравняйте ваши щиты, выставьте ваши пики, я [принесу сейчас] свою клятву». [После чего] ван сказал: «У древних была поговорка «Курица не вещает утра, но, если курица возвестила утро, значит, конец дому». Ныне иньский ван Чжоу внимает только словам женщины, самочинно прекратил жертвоприношения своим предкам, не уделяя этому никакого внимания. [Он] по неразумию забросил управление своими владениями, отдалил родичей: отца, мать, брата — и не прибегает [к их] помощи, зато почитает и возвышает преступников и беглецов из всех частей страны, доверяет им и [широко]

использует их, дабы тиранить народ и обирать шанское государство. Ныне я, Фа, с почтением исполняю наказание, определенное [Чжоу-синю] Небом. В сегодняшнем бою, сделав не свыше шести-семи шагов, останавливайтесь и подравнивайтесь. Старайтесь, доблестные мужи! Сделав не более четырех-пяти-шести-семи ударов [своим оружием], останавливайтесь и подравнивайтесь, будьте усердны, доблестные мужи! Держитесь воинственно, деритесь, как тигры, как медведи, как барсы, как драконы; в окрестностях столицы не нападайте на тех, кто может перебежать к [нам], чтобы [заставить их] работать на [наших] западных землях. Будьте усердны, доблестные мужи мои! [Если] не будете стараться, то навлечете на себя смерть!» [62, С. 185-186].

Эта речь с точки зрения стиля представляет еще более эклектичное произведение, нежели являют собой образцы индийской военной риторики.

Во-первых, бросается в глаза то же смешение *религиозного* и *героического* пафосов, правда в силу особенностей политеистической религии китайцев *религиозный* пафос выражен слабо и не обещает посмертного воздаяния воинам, зато представляет полководца посланником и исполнителем воли Неба. В культе почитания предков, в нарушении которого У-ван упрекает враждебного иньского правителя, заметно влияние взглядов конфуцианства, хотя время его возникновения на исторической сцене отстоит почти на пять столетий от описываемых событий. Это подтверждает мысль Р.Я. Вяткина об их «конфуцианской интерпретации». Забота о справедливости своих целей войны выражена в мотиве защиты населения страны противника, якобы страдающего от дурного управления. Апелляция к категории справедливости, как уже указывалось, характерна больше для *религиозного* пафоса. Однако тут же прием унижения противника использует традиции *героического* пафоса: недостойное мужчины подчинение и исполнение желаний женщины.

Во-вторых, клятва представляет собой некое смешение жанров убеждающей и вдохновляющей речи. После убеждения воинов в справедливости целей войны следует, в общем-то, достаточно неуклюжее «ободрение», монотонно взывающее к «доблестным мужам» проявить усердие и старание в битве. Истинно воинского духа в «ободрении» не чувствуется. Обилие простых сравнений воинов со всеми грозными представителями животного мира не может вызвать ничего, кроме улыбки.

В-третьих, громкие призывы самой вдохновляющей речи перемежаются элементарным инструктажем, посвященным разъяснению порядка действий воинов в бою. Такая забота о сохранении целостности строя выдает недостаточную обученность войска, заставляя предположить, что китайские воины в этот период немногим отличались от простых крестьян.

Венчает речь очень характерное для порядков, принятых в Древнем Китае, напоминание о наказании за трусость или просто неудачу, от которой на войне не застрахован, как известно, никто. Неудачливых полководцев в Поднебесной ждали тяжелые наказания: «Если командир ... обратится в бегство, ... сдастся..., убежит от всего войска — ... его самого предадут смертной казни, его дом разрушают, его имя вычеркивают из списков общины; если он успеет умереть, его могилу разрывают и его труп выбрасывают на рыночную площадь, мужчин и женщин из его семьи обращают в государственное рабство» [61, С. 495].

Круговая порука и суровая ответственность командиров и целых подразделений за проступки отдельных воинов являются, вопреки расхожему мнению, изобретением не монголов, а китайцев. Впрочем, если случай был не особо тяжелым, жизнь можно было спасти, внеся... денежный залог. «Исторические записки» Сыма Цяня пестрят фразами типа «он выкупил свою жизнь и перешел в разряд простолюдинов». К подобной практике, видимо располагал правителей практически неограниченный человеческий ресурс, чего нельзя было сказать о ресурсах денежных, всегда востребованных хотя бы на содержание собственного двора.

Многочисленность китайского войска настолько затрудняла управление ей в бою полководцем, что отдельные главы китайских военных трактатов посвящались техническим способам передачи команд и сигналов. Так Сунь-цзы, цитируя не дошедший до нас трактат «Управление армией», пишет: «Когда говорят, друг друга не слышат; поэтому и изготовляют гонги и барабаны. Когда смотрят друг друга не видят; поэтому и изготовляют знамена и значки» [61, С. 101]. Пыль и шум, поднимаемые десятками и сотнями тысяч ног марширующих солдат практически исключали управление армией при помощи речи и жестов. Здесь мы, видимо, сталкиваемся со случаем технической невозможности произнесения речи, о которой писали во второй главе.

Другой причиной видимого пренебрежения принципами военной риторики может служить внутривосточное положение Поднебесной

империи, почти всегда разделенной на несколько враждующих между собою царств. Сокрушение одного из противников не решало автоматически задачу гегемонии победителя на имперском пространстве, поскольку его успех мог быть использован соседями; мало того следовало предусматривать возможность многоходовых комбинаций их союзов, направленных против одного чрезмерно усиливающегося царства. В таких условиях тактика, а вместе с ней и обеспечивающая ее военная риторика, до определенной степени теряли свое значение, а на первый план выходила стратегия, мыслившая крупными государственно-политическими категориями и оперировавшая целыми армиями.

Поэтому не случайно, что в Древнем Китае значительно раньше, чем в Европе получили распространение многочисленные трактаты по военному искусству, в которых в первую очередь рассматривались вопросы стратегии. В самом известном из них, получившем название по имени его автора «Сунь-цзы» практически не обращалось внимание на такие «мелочи» как боевой дух войска. Трактат достаточно цинично рекомендовал полководцу использовать в интересах дела тот общеизвестный факт, что на войне лучше всего люди сражаются за свою собственную жизнь:

«Бросай их туда (солдат. — авт.), откуда нет выхода, и они будут умирать, не отступая. Когда нет возможности избежать смерти, командиры и солдаты отдадут все свои силы. Когда командиры и солдаты проникли вглубь [чужой земли], они будут держаться друг за друга. Когда нет выхода, они будут сражаться» [61, С. 120].

Вообще говоря, древние китайские полководцы и авторы военных трактатов представляются в высшей степени прагматичными людьми. «Убивает противника ярость, захватывает его богатства жадность», — писал, например, Сунь-цзы [61, С. 76]. Побуждение войск к сражению осуществляется по их мнению воздействием на простейшие человеческие чувства: страха, ярости и жадности. Солдат должен быть напуган ровно до такой степени, чтобы страх вызвал в нем яростное желание бороться за свою жизнь. Дополнительным стимулом при этом являются награды за храбрость от своего полководца, и, главным образом, возможность безнаказанного грабежа населения страны противника. Рассчитывая на пробуждение инстинкта самосохранения и самых низменных чувств в душах солдат, естественно нет необходимости во вдохновении их какими-либо идеями.

Нельзя сбрасывать со счетов и прочно вошедшую в китайскую культуру и в китайский менталитет склонность к принципам непрямой

коммуникации. Китайский военный трактат «Тридцать шесть стратегем» целиком посвящен военным хитростям, многие из которых вошли в наиболее известные позднейшие «Сунь-цзы» и «У-цзы». Высказывания Сунь-цзы, например, многократно реализуют принципы не прямой коммуникации: «Война — это путь обмана... Тот, кто говорит почтительно, но усиливает приготовления, будет наступать. Тот, кто говорит воинственно и продвигается поспешно, отступит» [61, С. 101].

Военная хитрость рассматривалась, в первую очередь, как способ минимизации потерь людских и материальных ресурсов. Успешное применение уловок представлялось несомненным благом для народа и государства, а полководец имел все основания для проявления коварства ради достижения победы. Таким образом, требование нравственности — явление абсолютно чуждое для взглядов на войну китайских военных мыслителей древности. Напомним, что нравственность оратора рассматривалась классиками европейской риторики как неперемное условие воздействия его речи.

Эти соображения, вкупе с неограниченными людскими резервами, позволяли полководцам Древнего Китая до определенной степени



Рис. 11. Китайские воины династии Цинь

пренебрегать не только военной риторикой, но и вопросами воинского воспитания, заменяя его, как сказали бы сейчас «профессиональным отбором». Взгляды, господствовавшие в китайском обществе того времени, по отношению к формам и самому факту мотивации человека к добросовестному исполнению обязанностей хорошо иллюстрирует спор между легистами и конфуцианцами о том, достаточно ли для этого ужесточать наказания, или допустимо применять умеренные поощрения.

Военный трактат «У-цзы», например, рекомендует изучать свойства «личного состава», но не с тем, чтобы найти лучшие способы воздействия на него, а затем, чтобы выбрать наилучших, готовых, заранее мотивированных исполнителей боевых задач.

«Поэтому правители могучих государств обязательно изучают свой народ. Они собирают из своего народа отважных и храбрых, сильных духом и телом и составляют из них отряд; они собирают таких, кто с радостью идет в бой, отдает все свои силы борьбе и тем проявляет свою преданность и храбрость и составляет из них отряд; собирают таких, кто может переходить через горы, проходить далекие расстояния, кто быстр в ходьбе, умеет хорошо делать переходы, и составляют из них отряд; они собирают таких слуг, кто утратил свое положение и хочет снова иметь заслуги перед государем, и составляют из них отряд; они собирают таких, кто сдал крепости, не смог защититься, кто хочет смыть свой позор, и составляют из них отряд. Эти пять отрядов являются отборными частями армии» [61, С. 141].

В недоступных простому смертному замыслах великих полководцев войскам теперь отводилась роль немых, но безупречных исполнителей приказов. Личность отдельного воина, а вслед за ним и всей армии лишалась всякой индивидуальности, приносимой в жертву целесообразности, порядку и дисциплине. Мало того, сама эта индивидуальность могла выступать теперь помехой военному искусству. Так, например, приказ по войскам полководца Сун И гласил: «Всякий, кто будет свирепым как тигр, упорным как баран, алчным как волк, но в такой мере, что его невозможно будет подчинить приказам, будет обезглавлен» [63, С. 125].

Неизвестно, все ли свои секреты сделал достоянием потомков знаменитый Сунь-цзы. Авторы других древнекитайских трактатов по военному искусству были не столь категоричны. Вэй ляо-цзы, например, не только признавал необходимость подготовки войск к сражениям, но

и с не меньшей определенностью утверждал, что «в бою необходимо, чтобы полководец воодушевлял своих солдат. Это все равно, как сердце управляет руками и ногами. Если дух не поднят, солдаты не пойдут на смерть из верности долгу, никто не будет сражаться» [61, С. 509]. Это, в целом, достаточно верное соображение, тем не менее, никак не пояснено, каким образом полководцу надлежит поднимать дух войска.

Другой автор Ли Вэй-гун также совершенно правильно полагал, что «когда существо, состоящее из плоти и крови борется с воодушевлением, не обращая при этом внимания на смерть, это происходит оттого, что таким его делает дух. Поэтому правила ведения войны заключаются в том, чтобы... пробудить в них (офицеров и солдат. — авт.) дух победы» [61, С. 311]. И здесь мысль оставлена без комментария.

Сам Сунь-цзы, по крайней мере, предлагал только пассивную тактику уклонения от схватки со свежим, неутомленным противником, «когда его дух бодр» и наоборот, ударять на врага, когда «его дух вял или когда он помышляет о возвращении». Заметно, что авторы китайских военных трактатов трактовали бодрость духа воинов во многом в соответствии с известной русской пословицей «в здоровом теле здоровый дух», что не требовало никакого особенного речевого воздействия.

Воодушевлять солдат военачальникам, очевидно, предлагалось собственным примером; во всяком случае, явных указаний на необходимость вдохновляющего речевого воздействия полководца перед боем и в бою ни в одном военном трактате нам обнаружить не удалось.

Последствия подобного отношения к социально-значимой речи в целом и военной риторике в частности в царстве Цинь, например, не заставили себя долго ждать. Сыма Цянь приводит мнение учителя Цзя И о причинах крушения царства Цинь, впервые объединившего всю Поднебесную, которое просуществовало всего 15 лет.

«В это время имелись, [конечно], мужи дальновидные и понимающие нужность изменений, но они не осмеливались выполнить свой долг верности до конца и выступить против ошибок, так как порядки в Цинь предусматривали множество запретов, не подлежащих нарушению. И не успевало верное слово сорваться с языка, как [произнесший его] был уже уничтожен и мертв. Это вынуждало всех мужей в Поднебесной, повернув голову, только выслушивать [приказания императора], недвижно стоять и, **закрыв плотно рот, молчать** (выделено нами. — авт.)» [63, С. 101].

«Безмолвие» народа всегда дорого обходилось государствам и правителям. Не был в этом исключением и Древний Китай.

\* \* \*

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, И с мест они не сойдут...». Это наблюдение Р. Киплинга в полной мере можно отнести к особенностям военной риторики европейских и восточных народов.

Вся восточная традиция стоит на категории долга: религиозного в случае Древней Индии и долга перед государственной властью в Древнем Китае. Поэтому нет ничего удивительного в том, что классическая риторика Аристотеля и Цицерона, определяемая «как способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета», представляется явлением несколько даже чужеродным для восточного менталитета. На Востоке никто никого не убеждает. «Велит Аллах, и повинуйся «дрожащая» тварь!» — как пронизательно заметил Ф.М. Достоевский.

Перед восточными полководцами отчасти еще вставала задача воодушевления войск перед сражением и в бою, но ее решение было свойственно скорее для персонажей героического эпоса (в Индии) или для эпохи героической древности (в Китае).

Не была актуальна для военной риторики Древнего Востока и такая функция вдохновляющей речи как раскрытие образа военного руководителя [21, С. 11], при помощи чего военачальник выигрывает сердца своих подчиненных. В этом китайцы, очевидно, руководствовались поговоркой: «Ни слива, ни персик ничего не говорят, но под ними сама собою протаптывается тропинка» [62, С. 110]. Сунь-цзы, например, считал, что это даже вредит делу, способствуя раскрытию замыслов полководца. «Для полководца, — мыслит великий стратег, — важно быть спокойным и непостижимым для других... способным притуплять слух и зрение солдат и командиров, держа их в неведении... Он командует ими, как будто ведет стадо овец — вперед, назад, но никто не знает, куда они идут» [61, С. 121-122].

От себя заметим, что овца (или баран) никогда не даст примеров воинской доблести и не проявит командирских способностей. Не потому ли военная история государств Востока так богата сценами потрясающей жестокости, когда десятки тысяч побежденных разом лишались голов, но практически не оставила нам примеров высочайшего взлета человеческого духа, мужества, воинской чести и самопожертвования?

Военные речи восточных полководцев не заставляют ненавидеть, не пробуждают ни сострадания, ни любви, ни желания отдать жизнь для того, чтобы жили другие. Простое обслуживание задач ведения войны еще не делает речевую деятельность полководца военной риторикой; как не произошло этого ни в Древней Индии, ни в Древнем Китае.

### **5.3. Ветхозаветная военная риторика**

Содержание военной риторики древнего Израиля определяется прежде всего принадлежностью ее единственному народу, исповадовавшему в древние времена монотеистическую религию. Это ставит ветхозаветную военную риторику особняком от всей военной риторической традиции Древнего мира. О содержании военной риторики еврейского народа мы можем судить по книге Иисуса Навина, посвященной истории завоевания Святой земли и книгам Маккавеев, повествующих о борьбе Израиля с духовной и политической экспансией эллинистических государств Селевкидов и Птолемея во II в. до н.э.

Первая книга Маккавеев считается одной из самых «исторических» книг Библии, поскольку содержит вполне определенные указания на конкретные исторические события и приводит хронологию, полностью подтверждающуюся античными историками. Если даже принимать во внимание влияние эпического компонента, который, как уже было показано ранее, в той или иной степени присутствует и в самих исторических сочинениях древних авторов, то по библейским текстам мы вполне можем судить об общих тенденциях в развитии военной риторики древнего Израиля.

Несмотря на то, что ветхозаветная история содержит немало военных эпизодов, речи полководцев появляются только в Маккавейских книгах. Это позволяет нам предположить, что в условиях тесных контактов Израиля с эллинистическими государствами Ближнего Востока имело место знакомство древних иудеев с античной военной риторикой, что отразилось и на военной речевой традиции Израиля. О том, что влияние греческой культуры было в то время достаточно ощутимым, говорит, например, факт отпадения значительной части еврейского народа от веры предков и принятия ими язычества при Антиохе Епифане и его сыне Антиохе Евпаторе.

При завоевании земли обетованной Иисус Навин, например, не произносил речей, имевших цель сформировать боевой настрой израильского

воинства; он только налагал заклятья, которые предписывали определенный порядок действия воинов в бою и, особенно, после боя. При взятии Иерихона «Иисус сказал народу: воскликните, ибо Господь предал вам город! Город будет под заклятием, и все, что в нем — Господу [сил]... но вы берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан [сынов] Израилевых не навести заклятия и не сделать ему беды; и все серебро и золото, и сосуды медные и железные да будут святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню» [Ис. Нав., 6, 15-18].

Эти заклятья были в чем-то были сродни «клятве» китайского полководца У-вана. Твердое уверение воинов в помощи Божией, конечно, имело влияние на боевой дух, но заклятья не преследовали цели убеждения, что является отличительным признаком риторической разработки речи. Многократно осуждавшаяся жестокость этих заклятий, заключавшихся в запрете, например, брать что-либо из имущества побежденных, предавать мечу всех, вплоть до мелкого скота, имела, помимо религиозного, еще и достаточно рациональное объяснение: войско завоевателей не имело права обременять себя добычей до достижения полной победы над врагами. Привязанность к награбленному имуществу всегда имеет следствием определенную деморализацию и падение боевых качеств воинов. Таким образом, заклятья представляли собой архаичную форму боевого приказа, освящавшегося авторитетом Бога, но преследующим вполне земные, прагматичные военные цели.

Знаменитый полководец Иуда Маккавей, сын израильского первосвященника Маттафии, первым вставшего на борьбу за соблюдение отечественной веры и традиций, уже произносит типично военные речи, имеющие цель поднять дух воинов пред сражением. В Библии так описывается первое столкновение войск Иуды с войсками Сирона, полководца сирийского царя Антиоха IV Епифана (время правления 175–164 г. до н. э.), Иуда вышел к ним навстречу с очень немногими, которые, когда увидели идущее навстречу им войско, сказали Иуде: как можем мы в таком малом числе сражаться против такого сильного множества? И мы же совсем ослабели, еще не евши ныне. Но Иуда сказал им: легко и многим попасть в руки немногих, и у Бога небесного нет различия, многими ли спасти или немногими; ибо не от множества войска бывает победа на войне, но с неба приходит сила. Они идут против нас во множестве надменности и нечестия, чтобы истребить нас и жен наших и детей наших, чтобы ограбить нас; а мы сражаемся за души наши и законы

наши. Он Сам сокрушит их пред лицом нашим; вы же не страшитесь их. Перестав говорить, он внезапно бросился на них, и поражен был Сирон и войско его перед ним» [1 Мак., 3, 16-23].

Речь Иуды Маккавея была бы типичным примером использования *патриотического* пафоса, воспетого еще Гомером (вспомним речи Гектора), если бы не упоминание о том, что войны сражаются не только за жен и детей, но и за собственные души. Вместе с выраженным в речи упованием на небесную помощь цели противника унижаются как цели несправедливые, а его войны обвиняются в гордости и нечестии, т.е. качествах, не имеющими ничего общего с боевыми, но представляющими мерзость пред очами Бога. Все это свидетельствует о преобладании в речи *религиозного* пафоса, столь характерного для монотеистических религий.

Во вдохновляющем речевом воздействии ветхозаветными израильскими полководцами активно использовались примеры из Священного Писания, хорошо известные каждому еврею. Так, перед сражением с многочисленными войсками полководца Горгия «ободрение» Иуды Маккавея строилось, по сути, на одном только примере: «Тогда сказал Иуда сущим с ним мужам: не бойтесь множества их, и стремительно-сти их не страшитесь. Вспомните, как спасены были отцы наши в море Чермном, когда преследовал их фараон с войском. И теперь возопием на небо. Ежели мы угодны Ему, то Он помянет завет с отцами нашими, и истребит это ополчение пред лицом нашим сегодня. И узнают все народы, что есть Избавляющий и спасающий Израиля» [1 Мак., 4, 8-11].

В особо трудных случаях обращение к войскам заменяла гласная, публичная молитва, решавшая те же задачи, что и вдохновляющая речь. Главной функцией воинской молитвы было убеждение воинов, в том, что «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», потому что на стороне Израиля сражается Господь Бог, который в силах сокрушить любого противящегося Ему. В молитве, естественно, неприменимы логические аргументы, поскольку воздействует она на иррациональную, образно-чувственную сторону человеческой природы, поэтому в качестве убеждающего средства молитва, например, Иуды перед битвой с Лисием при Вефсуре использует исключительно пример:

«Увидев сильное ополчение, он молился и говорил: благословен Ты, Спаситель Израиля, сокрушивший нападение сильного рукою раба Твоего Давида и предавший полк иноплеменников в руки Ионафана, сына Саулова, и оруженосца его. Предай войско сие в руки народа Твоего — Израиля, и да будут они постыжены в силе и коннице их; наведи на них

страх и сокруши дерзость силы их; да будут они потрясены поражением своим; низложи их мечом любящих Тебя, и да прославят Тебя в песнях все знающие имя Твое. И сразились они, и пало из войска Лисия до пяти тысяч мужей, пали перед ними» [1 Мак., 4, 30-34].

\* \* \*

Ветхозаветная военная риторика может рассматриваться в качестве своеобразного «мостика», перекинутого между военной риторикой древности к христианской военной риторике Средневековья, которая, как мы увидим далее, будет во многом следовать принципам, почерпнутым из священных книг Ветхого Завета. Для военной риторики древнего Израиля характерно следующее:

- преобладание в военных речах *религиозного* пафоса;
- полагание непременно условием помощи Божией нравственность воинов и справедливость целей борьбы;
- использование воинской молитвы как разновидности жанра вдохновляющей речи;
- широкое использование в качестве основного убеждающего средства примера, базирующегося на событиях, текстах и персоналиях ветхозаветной истории;
- отсутствие риторических средств выразительности речи, применение которых, как надо полагать считали израильские полководцы, наносило ущерб безыскусной силе слов, освящаемых авторитетом Священного Писания.

Вместе с тем в речах практически не наблюдалось мотива разжигания ненависти к противнику как к врагам Божиим. Ветхозаветная риторика еще носила, так сказать, оборонительный характер, была проникнута *патриотическим* пафосом; вся она была нацелена на защиту отечественных традиций и установлений.

Ожесточение борьбы за обладание религиозной истиной было еще впереди.

## Заключение

Риторика отличается от прочих речеведческих дисциплин, таких как культура речи, семиотика, психолингвистика, когнитивная лингвистика, герменевтика, теория коммуникации и ряда других тем, что, вбирая в себя результаты, полученные ими, и основываясь на данных психологии, она создает нечто, что ставит ее особняком от наук и сближает с искусством.

Это — учение об ораторе. Ни одна наука, даже из числа изучающих человека, кроме, пожалуй, педагогики, не предъявляет нравственных требований к человеку, использующему ее знания, и не выставляет нравственность непременным условием достижения результатов их использования. Нравственная оценка свойственна исключительно произведениям искусства, как неотъемлемый признак Красоты, той самой, которой искусство служит и которая, «спасет мир». Точно так же искусство требует нравственной чистоты и от своего творца, ибо Красота есть часть Божественного замысла и художник, таким образом, является соратником Творца, к которому, как известно, никакая скверна приблизиться не может. Вся история искусства подтверждает этот тезис.

Риторика оказалась в забвении именно в связи с умалением нравственности в ораторах и их аудитории. Выхолощение нравственного чувства в народах перенесли на выхолощение самой риторики; начали пенять по пословице на зеркало. Начали воспринимать риторику сначала исключительно как науку, а потом и как технику воздействующей речи, забыв о том, что она еще и искусство, которое, как известно, не терпит фальши и беспощадно обнажает все попытки эпигонства. Не может даже хорошая копия картины или эстамп сравниться с оригиналом, тем более не может сравниться с ним стилизация и подделка. Не может речь, написанная хоть бы и Цицероном, воздействовать на умы и сердца «хладной» аудитории, особенно если произносится «хладным» оратором. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими... а любви не имею, то я — медь звенящая...» (ап. Павел «Послание к Коринфянам»).

Неориторика, к сожалению, пошла по пути приспособления к запросам современной аудитории, по пути удовлетворения утилитарных потребностей, достижения целей бездуховного, делового общения, все больше растворяясь в потоке наук, которые значительно глубже, нежели риторика ориентируются в предмете своих исследований. Этот путь, по нашему мнению, тупиковый, и неориторика, как только пройдет не

нее мода, объясняющаяся, заметим, тоской человечества по духовному слову, которое столь щедро дарит нам классическая риторика древности, окажется в таком же забвении, как и риторика периода ее упадка.

Не то военная риторика. Военная риторика не может быть бездуховной по самой своей сути, ибо призвана воспитывать, возгревать нравственное чувство, с тем чтобы в нужные минуты воззвать к духовному началу в своих слушателях, подвигнуть на высшую жертву, которую может принести человек — жертву положения души «за други своя».

Вся история военной риторики античности убеждает нас в этом. Собственно как риторика, в отличие от безликой «речевой коммуникации», она сформировалась только когда отошла от простого обслуживания организации речевого взаимодействия. При Марафоне мы еще не видим действия военной риторики, мы видим только гениальный расчет полководца, который смог учесть морально-психологическое состояние своих воинов, но даже и не пытался воздействовать на него, не смог его сформировать. Зато подвиги величайших героев древности: Александра, Ганнибала, Цезаря являют собой примеры постоянного, отлично продуманного и талантливо исполненного речевого воздействия полководца, направленного на воспитание и поддержание высокого боевого духа своих войск, который выступает подчас единственным залогом их побед.

«Нравственный дух войска есть та могущественная сила, коею полководец совершает невероятные подвиги... Военачальник, желающий побудить подчиненных воинов к какому-либо важному предприятию, должен знать душевные их расположения и наклонности. Чувствование, одушевляющее их должно служить основанием речей полководца, главной пружиной побуждений для достижения цели. Иногда войско не бывает одушевлено никаким общим чувствованием. Сие случается, во-первых, тогда, когда оно составлено из разных народов, имеющих различные выгоды и цели,; во-вторых, когда оно, по условиям найма, служит из корысти и платы; в-третьих, когда видит себя слепым орудием неправды и притеснений; наконец, когда оно так отделено от общественного состава других сословий и их выгод, что забывает естественные чувствования родины и гражданства. Такое войско, зараженное равнодушием, неспособно к великим предприятиям», — писал Я.В. Толмачев [65, ч.2, С. 27-28].

Народы, в традиции которых основания проявления воинской доблести виделись не в нравственном подвиге, а в религиозном фатализме, как в Древней Индии, или в бездуховной прагматичности, как в Древнем

Китае, не смогли явить высоких образцов военной риторики. О значимости военной риторики говорит тот факт, что полководческое искусство Древнего Востока, лишенное этого мощного средства подготовки и управления войсками, нуждалось в подкреплении средствами пропаганды (в Индии) или воинским обучением и воспитанием, развиваемых в системах боевых искусств (в Китае).

Военная риторика любого народа в любой исторический период заканчивается вместе с падением нравственности, оскудением идеалов служения, гражданственности и патриотизма. Никакой профессионализм не может удержать даже такую великолепную армию, какой была римская от разложения, поражений и позора. Мало того, сам профессионализм ее, как мы видим, растворяется в эгоистических материальных интересах, питающих проявление трусости и малодушия, и не может служить надежным основанием воинской доблести.

В этом состоит великий урок античной военной риторики, не потерявший актуальности, на наш взгляд, до сего времени. В этом заключается также и важность изучения великих образцов военной риторики для военного педагога, который призван не просто выступать передаточным звеном при сообщении специальных знаний; переход на Государственные образовательные стандарты третьего поколения, компетентностный подход в военном образовании требуют формировать у обучающихся способность и *готовность* применять эти знания в практической профессиональной деятельности. А категория готовности к исполнению своего долга подразумевает осознанное желание выполнить его, что неразрывно связано с задачами нравственного воспитания военнослужащих. Нравственная позиция военного педагога, заявленная в его профессиональной речевой деятельности, призвана помочь в формировании патриотического мировоззрения курсантов — завтрашних офицеров, будущего страны и Вооруженных сил.

# Приложения

## Приложение 1.

### СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ

(Речь спартанского царя Архидама перед открытием боевых действий против Афин в Пелопоннесской войне)

Пелопоннесцы и союзники! И отцы наши совершили много походов как в самом Пелопоннесе, так и за его пределами, да и старшие из нас самих не лишены военного опыта. Однако мы еще никогда не выступали в поход с большими силами, как в этот раз. Кроме того, мы идем теперь против могущественнейшего государства и сами начинаем войну с огромнейшим и доблестнейшим войском. Поэтому наш долг показать себя не хуже отцов наших и не ниже нашей собственной славы.

Действительно, вся Эллада возбуждена настоящим движением, следит за ним со вниманием и вследствие ненависти к афинянам сочувствует нам, готова содействовать осуществлению наших планов. Хотя кому-либо и может показаться, что мы идем в поход с громадным войском и что вследствие этого вполне обеспечены от попытки неприятеля вступить с нами в открытый бой, однако это не должно нисколько умалять нашей заботливости в приготовлениях к войне; напротив, вождь и воин каждого государства должны всякий за себя постоянно ждать какой-либо опасности. Ход войны неведом, и большую часть нападения совершаются внезапно и под влиянием возбуждения. Часто меньшее по количеству, но осмотрительно действующее войско с успехом отражало более многочисленного неприятеля, если последний по самонадеянности оказался неприготовленным. В неприятельской земле следует постоянно подвигаться вперед со смелостью в душе, на деле же со всею осмотрительностью быть готовым ко всему. При таком условии можно наступать на врагов с величайшею отвагою и с полнейшею безопасностью нападать на них. А мы идем на такое государство, которое в состоянии сопротивляться, которое во всех отношениях прекрасно подготовлено. Поэтому следует твердо надеяться, что афиняне вступят в битву с нами, хотя бы теперь, пока мы еще не в их стране, они и не трогались с места; другое дело, когда они увидят, что мы опустошаем их землю и истребляем их достояние. Ведь все люди приходят в ярость, когда их постигает что-либо необычное в их глазах и внезапно, и те, которые меньше всего следуют голосу рассудка, с наибольшею горячностью кидаются в дело. Афиняне, вероятно, поступят

так скорее всякого другого: они изъявляют притязания владычествовать над остальными, скорее совершать нападения на других и опустошать их земли, нежели видеть разорение собственной земли.

Итак, коль скоро вы идете войной против такого государства, коль скоро борьба эта в зависимости от того или иного ее исхода принесет вашим предкам и вам самим или величайшую славу, или такой же позор, следуйте всюду, куда бы ни повели вас, наблюдайте выше всего порядок и бдительность и быстро исполняйте приказания. Лучше и безопаснее всего, когда многие проявляют готовность подчиняться одному порядку.

## **Приложение 2.**

### **СУДЕБНАЯ РЕЧЬ**

(Речь Тита Манлия Торквата перед сенатом,  
решавшим вопрос о выкупе пленных, после поражения римлян  
в битве при Каннах)

Если бы послы только просили о выкупе тех, кто находится во власти врагов, я, никого не порицая, высказался бы кратко; ведь от меня требовалось только одно: напомнить вам, чтобы вы, держась обычаев, завещанных предками, дали пример суровости, без которой, ведя войну, не обойтись. Сейчас, однако, эти люди почти хвалятся тем, что сдались неприятелю — они сочли справедливым, чтобы их ставили выше не только тех, кто взят в плен был на поле боя, но и тех, кто добрался до Венузии и Канузия, и даже выше самого консула Гая Теренция. Я, отцы-сенаторы, не допущу, чтобы вам осталось неизвестным хоть что-нибудь из происшедшего там. О если бы то, что скажу сейчас вам, я говорил в Канузии в присутствии всего войска, лучшего свидетеля и доблести, и трусости любого каждого из солдат! Если бы хоть один только Публий Семпроний сейчас присутствовал здесь. Ведь, последуй эти люди за ним, они сейчас были бы солдатами в римском лагере, а не пленниками во власти врагов. Но нет, — когда враги утомленные битвой и обрадованные победой, сами почти что все вернулись в свой лагерь; оставив им свободную ночь для попытки прорваться, и семь тысяч вооруженных воинов смогли бы пробиться даже через сомкнутый строй врагов, тогда эти люди и сами не попытались сделать такую попытку, и не пожелали следовать за другим. Почти целую ночь Публий Семпроний Тудитан не переставал убеждать и уговаривать их: «пока врагов вокруг лагеря мало, пока всюду тишина и покой, следуйте под покровом ночи за мною: еще до рассвета мы придем туда, где опасности нет — в города союзников». Если бы он говорил

так, как на памяти наших дедов военный трибун Публий Деций в Самнии, или так, как в Первую Пуническую войну, во времена нашей юности, Марк Кальпурний Фламма, который ведя триста добровольцев на приступ занятого врагами холма, обратился к своим со словами: «Умрем и смертью своей выручим легионы, попавшие в окружение», — если бы Публий Семпроний сказал то же самое, и если бы не нашлось никого желающего участвовать в таком доблестном деле, я перестал бы считать вас римлянами и мужчинами. Но ведь он вам указывал путь не столько к славе, сколько к спасению — к возвращению на родину, к родителям, женам и детям. Себя сберечь у вас не хватило храбрости, — что вы будете делать, если придется умирать за отечество? Вокруг вас лежали пятьдесят тысяч граждан и союзников, погибших в тот самый день. Если столько примеров доблести не взволновали вас, — вас ничто не взволнует. Если даже вид такого побоища не побудил вас не щадить вашей жизни, — вас ничто не побудит. Свободные, полноправные, тоскуйте по отечеству, тоскуйте же, пока отечество у вас есть, пока вы — его граждане. А вам тосковать поздно — вы потеряли свои права, вы больше не граждане — теперь вы — рабы карфагенян. За деньги вы собираетесь вернуться туда, откуда ушли негодными трусами? Публия Семпрония, вашего согражданина, велевшего вам следовать за ним с оружием в руках, вы не послушались, а Ганнибала, велевшего выдать оружие и сдать лагерь, послушались. Но почему же я обвиняю их в трусости, когда мог бы обвинить в преступлении? Ведь не только сами они не послушались доброго совета; они еще попытались удержать уходивших — только обнаженные мечи храбрецов отогнали робких. Публию Семпронию пришлось пробиваться через ряды сограждан, а не врагов. Таких ли граждан желает отечество? Будь и все остальные на них похожи, сегодня не оставалось бы ни одного гражданина, сражавшегося под Каннами. Из семи тысяч вооруженных нашлось шестьсот храбрецов, которые отважились прорваться, которые вернулись в отечество свободными и вооруженными. И этим шестистам враги не заградили дорогу. Насколько же безопасен был, по вашему мнению, путь для двух почти легионов? Сегодня, отцы-сенаторы, вы располагали бы двадцатью тысячами вооруженных в Канузии, храбрых и верных солдат. А эти люди, как они теперь могут быть добрыми и верными гражданами (храбрыми они и сами себя не называют)? Разве только если кто-то поверит, что, попытавшись помешать, они помогли тем, кто шел на прорыв, что они не завидуют благополучному возвращению доблестных воинов и не признают, что позорным рабством своим обязаны собственной трусости и никчемности. Эти люди предпочли, забившись в палатки, ждать и рассвета, и неприятеля,

хотя в ночной тишине можно было вырваться из окружения. Чтобы уйти из лагеря, духу им не хватило, — чтобы храбро его защищать, хватило. Денно и ночью они, осажденные, защищали оружием вал, себя валом; наконец, отважно все испытав, дойдя до последней крайности, когда уже нечем было жить, когда истомленные голодом руки не держали оружия, уступили скорей своей человеческой немощи, чем вражескому оружию. На рассвете неприятель подошел к валу, и раньше второго часа, не попробовав испытать свое счастье в сражении, сдали оружие и сдались сами. Вот вам эти два дня их военной службы: когда долг требовал твердо стоять в боевом строю, они убежали в лагерь; когда следовало дать бой перед валом, они лагерь сдали — ни в строю, ни в лагере они ни на что не годны. И вас выкупать? Когда надо вырваться из лагеря, вы медлите и остаетесь, когда необходимо оставаться и охранять оружием лагерь, вы и лагерь и оружие, и себя отдаете врагу. По-моему, отцы-сенаторы, их так же не следует выкупать, как не следует выдавать Ганнибалу тех храбрецов, которые вырвались из лагеря, и, пройдя через гущу врагов, доблестью вернули себя отечеству.

### **Приложение 3.**

#### **ЭПИДЕЙКТИЧЕСКАЯ РЕЧЬ**

(Речь Перикла на похоронах павших афинян,  
2-й год Пелопоннесской войны)

Большинство уже говоривших с этого места воздает похвалы тому, кто прибавил к погребальному обряду произнесение похвального слова, так как действительно прекрасно произносить такое слово при погребении павших в войнах. Мне казалось бы достаточным, чтобы людям, проявившим доблесть на деле, и почести оказывались на деле, что сделано, как вы видите, и теперь настоящими похоронами, совершенными на счет государства; но мне казалось бы недостаточным ставить оценку доблести многих людей в зависимость от одного человека на том основании, что ему все равно поверят, хорошо ли он скажет или не вполне хорошо. Трудно соблюсти меру в словах там, где уверенность в истине сказанного с трудом лишь становится прочною. В самом деле, слушателю, во все посвященному и благосклонно настроенному, оценка заслуг может показаться недостаточною сравнительно с тем, что ему желательно слышать и что ему известно; напротив, слушатель несведущий, из чувства зависти может подумать, что некоторые заслуги и преувеличены, коль скоро они в том или ином отношении превосходят его

собственные природные силы. Ведь похвалы, воздаваемые другим, терпимы в той только мере, в какой каждый из слушателей сознает себя способным сам совершить те дела, о которых он слышит; то, что в похвалах превосходит эту меру, возбуждает в слушателях зависть и недоверие. Но так как люди старого времени признали обычай этот прекрасным, то и я обязан подчиниться ему и попытаться по мере возможности удовлетворить желаниям и ожиданиям каждого из вас.

Я начну прежде всего с предков, потому что и справедливость и долг приличия требуют воздавать им при таких обстоятельствах дань воспоминания. Ведь они всегда и неизменно обитали в этой стране и, передавая ее в наследие от поколения к поколению, сохранили ее благодаря своей доблести свободною до нашего времени. И за это они достойны похвалы, а еще достойнее ее отцы наши, потому что к полученному ими наследию они не без трудов приобрели то могущество, которым мы располагаем теперь, и передали его нынешнему поколению. Дальнейшему усилению могущества содействовали, однако, мы сами, находящиеся еще теперь в цветущем зрелом возрасте. Мы сделали государство вполне и во всех отношениях самодовлеющим и в военное и в мирное время. Что касается военных подвигов, благодаря которым достигнуты были отдельные приобретения, то среди людей, знающих это, я не хочу долго распространяться на этот счет и не буду говорить о том, с какой энергией мы или отцы наши отражали вражеские нападения варваров или эллинов. Я покажу сначала, каким образом действуя, мы достигли теперешнего могущества, при каком государственном строе и какими путями мы возвеличили нашу власть, а затем перейду к прославлению павших. По моему мнению, о всем этом уместно сказать в настоящем случае, и всему собранию горожан и иноземцев полезно будет выслушать мою речь.

Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям; мы сами скорее служим образцом для некоторых, чем подражаем другим. Называется этот строй демократическим потому, что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве их. По отношению к частным интересам законы наши предоставляют равноправие для всех; что же касается политического значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользуется предпочтительно перед другим не в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его доблести, стяжающей ему добрую славу в том или другом деле; равным образом, скромность звания не служит бедняку препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-либо услугу государству. Мы живем свободною политическою жизнью в государстве и не страдаем подозрительностью во взаимных

отношениях повседневной жизни; мы не раздражаемся, если кто делает что-либо в свое удовольствие, и не показываем при этом досады, хотя и безвредной, но все же удручающей другого. Свободные от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественных отношениях не нарушаем законов больше всего из страха перед ними, и повинuemся лицам, облеченным властью в данное время, в особенности прислушиваемся ко всем тем законам, которые существуют на пользу обижаемым и которые, будучи написанными, влекут общепризнанный позор.

Повторяющимися из года в год состязаниями и жертвоприношениями мы доставляем душе возможность получить многообразное отдохновение от трудов, равно как и благопристойностью домашней обстановки, повседневное наслаждение которой прогоняет уныние. Сверх того, благодаря обширности нашего города к нам со всей земли стекается все, так что мы наслаждаемся благами всех других народов с таким же удобством, как если бы это были плоды нашей собственной земли.

В заботах о военном деле мы отличаемся от противников следующим: государство наше мы предоставляем для всех, не высылаем иноземцев, никому не препятствуем ни учиться у нас, ни осматривать наш город, так как нас несколько не тревожит, что кто-либо из врагов, увидев что-нибудь неслышанное, воспользуется им для себя; мы полагаемся не столько на боевую подготовку и военные хитрости, сколько на присущую нам отвагу в открытых действиях. Что касается воспитания, то противники наши еще с детства закаляются в мужестве тяжелыми упражнениями, мы же ведем непринужденный образ жизни и тем не менее с не меньшей отвагой идем на борьбу с равносильным противником. И вот доказательство этому; лакедемоняне идут войною на нашу землю не одни, а со всеми своими союзниками, тогда как мы одни нападаем на чужие земли и там, на чужбине, без труда побеждаем большей частью тех, кто защищает свое достояние. Никто из врагов не встречался еще со всеми нашими силами во всей их совокупности, потому что в одно и то же время мы заботимся и о нашем флоте, и на суше высылаем наших граждан на многие предприятия. Когда в стычке с какою-либо частью наших войск враги одерживают победу над нею, они кичатся, будто отразили всех нас, а потерпев поражение, говорят, что побеждены нашими совокупными силами. Хотя мы и охотно отваживаемся на опасности, скорее вследствие равнодушного отношения к ним, чем из привычки к тяжелым упражнениям, скорее по храбрости, свойственной нашему характеру, нежели предписываемой законами, все же преимущество наше состоит в том, что мы не утомляем себя преждевременно предстоящими лишениями,

а, подвергшись им, оказываемся мужественными не меньше наших противников, проводящих время в постоянных трудах. И по этой и по другим еще причинам государство наше достойно удивления.

Мы любим красоту без прихотливости и мудрость без изнеженности; мы пользуемся богатством как удобным средством для деятельности, а не для хвастовства на словах, и сознаваться в бедности у нас непостыдно, напротив, гораздо позорнее не выбиваться из нее трудом. Одним и тем же лицам можно у нас и заботиться о своих домашних делах, и заниматься делами государственными, да и прочим гражданам, отдавшимся другим делам, не чуждо понимание дел государственных. Только мы одни считаем не свободным от занятий и трудов, но бесполезным того, кто вовсе не участвует в государственной деятельности. Мы сами обсуждаем наши действия или стараемся правильно оценить их, не считая речей чем-то вредным для дела; больше вреда, по нашему мнению, происходит от того, если приступить к исполнению необходимого дела без предварительного уяснения его речами. Превосходство наше состоит также и в том, что мы обнаруживаем и величайшую отвагу и зрело обсуждаем задуманное предприятие; у прочих, наоборот, неведение вызывает отвагу, размышление же нерешительность. Самыми сильными натурами должны, по справедливости, считаться те люди, которые вполне отчетливо знают и ужасы и сладости жизни, и когда это не заставляет их отступать перед опасностями. Равным образом, в отношениях человека к человеку мы поступаем противоположно большинству: друзей мы приобретаем не тем, что получаем от них услуги, но тем, что сами их оказываем. Оказавший услугу, более надежный друг, так как он своим расположением к получившему услугу сохраняет в нем чувство признательности; напротив, человек благодетельствованный менее чувствителен: он знает, что ему предстоит возратить услугу, как лежащий на нем долг, а не из чувства благодарности. Мы одни оказываем благодеяния безбоязненно, не столько из расчета на выгоды, сколько из доверия, покоящегося на свободе.

Говоря коротко, я утверждаю, что все наше государство — центр просвещения Эллады; каждый человек может, мне кажется, приспособиться у нас к многочисленным родам деятельности, и, выполняя свое дело с изяществом и ловкостью, всего лучше может добиться для себя самодовлеющего состояния. Что все сказанное не громкие слова по поводу настоящего случая, но сущая истина, доказывает самое значение нашего государства, приобретенное нами именно благодаря этим свойствам. Действительно, из нынешних государств только одно наше выдерживает испытание выше толков о нем;

только одно наше государство не будит негодования в нападающих на него неприятелях в случае поражения их такими людьми, не вызывает упрека у подчиненных, что они будто бы покоряются людям, недостойным владеть. Создав могущество, подкрепленное ясными доказательствами и достаточно засвидетельствованное, мы послужим предметом удивления для современников и потомства, и нам нет никакой нужды ни в панегиристе Гомере, ни в ком другом, доставляющем минутное наслаждение своими песнями, в то время как истина, основанная на фактах, разрушит вызванное этими песнями представление. Мы нашей отвагой заставили все моря и все земли стать для нас доступными, мы везде соорудили вечные памятники содеянного нами добра и зла. В борьбе за такое-то государство положили свою жизнь эти воины, считая долгом чести остаться ему верными, и каждому из оставшихся в живых подобает желать трудиться ради него.

Я и распространялся-то так долго о положении нашего государства с целью показать вам, что мы и враги наши, не имеющие у себя ничего подобного, ведем борьбу за неравное, и фактическими доказательствами подкрепить хвалу тем, над которыми я говорю теперь. Важнейшее уже сказано, потому что доблести этих и им подобных украсили наше государство всем тем, что я прославил здесь, и немного найдется эллинов, дела которых, как этих граждан, соответствовали бы похвале их. Мне кажется, постигший этих воинов конец впервые обнаружил и окончательно засвидетельствовал их мужество. Ведь справедливость требует, чтобы прочие недостатки людей заглаживались мужественною доблестью их в войнах за отечество: добром они стирают зло и целому государству они больше приносят пользы, нежели повредили ему своими личными недостатками. Между тем ни один из этих воинов не предпочел дальнейшего наслаждения богатством и не показал себя робким в надежде, что он мог бы еще избавиться от бедности и разбогатеть, и не уклонился от опасности. Отмстить врагу для них было желательнее этих благ, идти на опасности они признавали делом самым прекрасным и пожелали ценою этой опасности врагу отмстить, а от предстоящих им благ отказаться. На долю надежды они оставили неверность успеха, в действительной же борьбе лицом к лицу с опасностью они считали долгом полагаться только на собственные силы. Они предпочли, отражая врага, пострадать, нежели уступить и тем спасти себе жизнь. Они избегли позорящей молвы, спасли дело своею смертью и в кратчайший роковой момент расстались с жизнью, преисполненные не столько страха, сколько славы.

Столь достойными государства оказались эти воины. Оставшимся в живых следует молиться о более безопасном для них исходе, но они должны ре-

шиться проявлять несколько не меньшую отвагу по отношению к врагам. Не обращайте внимания на то, что вы слушаете теперь только речи о преимуществах мужества; иной может распространяться о них с излишнею обстоятельностью, хотя вы и сами знаете это не хуже его, и будет вычислять все блага, какие приносит с собой отражение врагов. Напротив, вы обязаны ежедневно на деле взирать на могущество государства и полюбить его, и, если оно покажется вам великим, имейте в виду, что его стяжали люди отвагою, умением принимать надлежащие меры, люди, руководившиеся в сражениях чувством чести. Если в предприятиях и они терпели в чем-нибудь неудачу, они не считали позволительным лишать государство своей доблести и приносили в жертву ему прекраснейший взнос. Они отдавали ради общего дела свою жизнь, и за то для себя лично они стяжали нестареющую похвалу и почетнейшую могилу, не столько эту, в которой они покоятся теперь, сколько ту, где слава их остается незабвенною, именно в каждом слове, в каждом деянии потомков. Могилою знаменитых людей служит вся земля, и о них свидетельствуют не только надписи на стелах в родной стране. Не столько о самих подвигах, сколько о мужестве незаписанное воспоминание вечно живет в каждом человеке и не в родной его земле. Соревнуйте этим воинам, считайте счастьем свободу, а свободою мужество, и потому не озирайтесь перед военными опасностями. Не тем несчастным, у которых нет надежды на счастливую долю, более справедливо не щадить своей жизни, но и тем, которым предстоит еще опасность обратной перемены в жизни и для которых в случае поражения наступят очень большие изменения. Для человека гордого тягостнее оскорбление, связанное с трусостью, нежели смерть, становящаяся нечувствительною, когда на нее идут мужественно и вместе с тем с надеждою на общее благо.

Вот почему, присутствующие здесь родители павших ныне воинов, не горевать я буду о вас, а утешать вас. Вы ведь знаете, при каком многообразном стечении обстоятельств воспитались вы; вы понимаете, что счастье бывает уделом того, кто, подобно этим воинам, кончит дни свои благопристойнейшею смертью, того, кто, подобно вам, скорбит благороднейшею скорбью, того, наконец, кому отмерено было и жить счастливо и столь же счастливо умереть. Я сознаю, конечно, трудность убеждать вас, потому что вы часто будете вспоминать о своих детях при виде счастья других людей, которым некогда и сами вы гордились; скорбят о лишении не тех благ, которых никто не испытал, но о том благе, к которому привыкли и которого больше нет. Однако находящиеся в том возрасте, когда еще могут быть дети, должны укреплять себя надеждою на других потомков. Будущие дети дадут некоторым

возможность забыть о тех, кого уже нет, а государству они принесут двоякую пользу: не уменьшится его население и не умалится его безопасность. Ведь невозможно с равным правом обсуждать дела тем гражданам, которые в одинаковой же мере не подвергались бы опасности потерять своих детей. Все же, перешедшие за этот возраст, считайте своей прибылью ту большую часть вашей жизни, которую вы провели в счастье; считайте, что вам осталось жить недолго, и облегчайте свою скорбь доброю славою павших сыновей. Не стареет только жажда славы, и в дряхлом возрасте услаждает не столько стяжание, как утверждают иные, сколько почет.

Присутствующим же здесь сыновьям и братьям павших, я вижу, предстоит великое состязание (обыкновенно всякий хвалит того, кого нет более); если бы вас, при избытке вашей доблести, не то что приравняли к павшим, но поставили только немного ниже их, и то хорошо: людям при жизни завидуют соперники, а сошедшие с пути пользуются благорасположением, не нарушаемым никаким соревнованием. Если я должен упомянуть и о доблести женщин, которые останутся теперь вдовами, то я выскажу все в кратком увещевании: быть не слабее присущей женщинам природы — великая для вас слава, особенно если возможно менее громко говорят о ней в среде мужчин в похвалу или порицание.

В своей речи, произнесенной по требованию обычая, я сказал все, что считал целесообразным. Что касается действительного чествования, то погребаемые частью уже почтены; кроме того, с этого дня государство будет содержать детей их до их возмужалости на государственный счет, тем самым присуждая полезный венок за участие в славной борьбе и умершим, и оставшимся в живых; в том государстве граждане наиболее доблестны, которое назначает за доблесть высшую награду. Теперь, оплавав каждый своих родных, расходитесь.

## Краткий словарь терминов

**Аргумент** — положение, приводимое в защиту тезиса.

**Градация** — наиболее часто применяемая риторическая фигура, представляющая собой расположение слов, чаще всего синонимов, в котором каждое последующее выразительнее, эмоциональнее, чем предыдущее.

**Ключевое слово** — опорное понятие в речи.

**Логос** — словесные средства, использованные создателем речи в данной речи для реализации замысла речи.

**Пафос** — намерение, замысел создателя речи, имеющего целью развития перед получателем определенную и интересующую его тему.

**Повтор** — риторическая фигура, повторяющееся слово или группа слов в начале или конце каждого предложения..

**Риторический вопрос** — риторическая фигура, представляющая собой вопрос, ответ на который заранее известен, или вопрос, на который даёт ответ сам спросивший.

**Тезис** — утверждение какого-либо положения в словесной форме.

**Тема** — предмет (суть) какого-либо рассуждения или изложения.

**Топ** — положение (аргумент), которое признается истинным или правильным и на основе которого конкретное обоснование представляется истинным и доказательным.

**Троп** — слова и выражения, используемые в переносном смысле, когда признак одного предмета переносится на другой, с целью достижения художественной выразительности в речи.

**Фольклор** — вид коллективной словесной деятельности, которая осуществляется преимущественно в устной форме.

**Эпос** — героическое повествование о прошлом, содержащее целостную картину народной жизни.

**Этос** — условия, которые получатель речи предлагает ее создателю.

## Список литературы

1. Александр Великий в легендах и исследованиях Востока и Запада / Сост. Е.В. Косолобова. — М.: Алетейя, 2000. — 384 с.
2. *Аммиан Марцеллин* Римская история / Пер. с лат. — СПб.: Алетейя, 2000. — 576 с.
3. Античная лирика. — М.: Худ.лит., 1968. — 623 с.
4. *Аппиан Александрийский* Римская история. — М.: Наука, 1998. — 726 с.
5. *Арриан* Походы Александра. / Пер. с древнегр. М.-Л.: 1962.
6. Артхашастра или наука политики. — М.: 1993.
7. *Афанасьев А.Н.* Народные русские сказки в 3-х томах. Т.3 — М.: 1957.
8. *Бузескул В.П.* Введение в историю Греции. Обзор источников и очерк разработки греческой истории в XIX и в начале XX в. — СПб.: 2005. — 672 с.
9. *Вегетий//*Греческие полиоркетики. — СПб.: Алетейя, 1996. — С. 153—306.
10. Властелины Рима. Биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана / Пер. С.Н. Кондратьева. — СПб.: Алетейя, 2001. — 384 с.
11. *Геродот* История. — М., АСТ, 2006.
12. *Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л.* Гомер и история Восточного Средиземноморья. — М.: 1996.
13. *Далецкий Ч.Б.* Риторика: заговори, и я скажу, кто ты. — М.: 2003. — 488 с.
14. *Дельбрюк Г.* История военного искусства в рамках политической истории: В 7-ми томах. — М., 1936.
15. *Дементьев В.В.* Непрямая коммуникация. — М.: Гнозис, 2006. — 376 с.
16. *Дилите Д.* Античная литература. — М.: 2003. — 487 с.
17. Диодора Сицилийского историческая библиотека переведена с греческого на русский язык Иваном Алексеевым в 6-ти тт. — С-Пб, 1774—1775.
18. *Дройзен И.Г.* История эллинизма. В 2-х томах. — СПб.: 1997.
19. *Дуров В.С.* История римской литературы. — СПб.: 2000. — 623 с.
20. Записки Юлия Цезаря и его продолжателей. / пер. и комм. М.М. Покровского. — М.: Научно-издательский центр «Ладомир» — «Наука», 1993.
21. *Зверев С.Э.* Вдохновляющая речь военного руководителя. — СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2008. — 181 с.
22. *Зелинский Ф.Ф.* Римская империя / Пер. с польск. Н.А. Папчинской. — СПб.: Алетейя, 1999. — 491 с.
23. Искусство войны: Антология в 2 кн. Кн.1. Древний мир / Сост., предисл., коммент. Р. Светлова. — СПб.: Амфора, 2000. — 397 с.
24. История греческой литературы. — М.-Л.: 1946.
25. *Картледж П.* Спартанцы: Герои изменившие ход истории; Фермопилы: Битва, изменившая ход истории / Пол Картледж; пер с англ. О. Шмелевой. — М.: Эксмо, 2009. — 528 с.
26. *Квинт Курций Руф* История походов Александра Македонского. С приложением сочинений Диодора, Юстина, Плутарха об Александре. — М.: 1993.
27. *Квинтилиан Марк Фабий* Двенадцать книг риторических наставлений. — С-Пб: 1834.

28. *Кнабе Г.С.* Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. — М.: 1994.
29. *Кнабе Г.С.* Русская античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. — М.: 2000. — 240 с.
30. *Корнелий Тацит* Сочинения в двух томах. — Л.: Наука, 1969.
31. *Ксенофонт Анабасис.* / Пер., ст. и примеч. М. И. Максимовой. Под ред. акад. И. И. Толстого. (Серия «Литературные памятники»). — М.-Л.: 1951.
32. *Ксенофонт* Греческая история. / Пер. и комм. С. Я. Лурье, Изд. 3-е. — СПб.: Изд-во «Алетейя», 2000. — 430 с.
33. *Ксенофонт* Киропедия. — М.: Наука, 1993.
34. *Кузнецова Т.И., Миллер Т.А.* Античная эпическая историография. — М.: Наука, 1984.
35. *Лазуткина Л.Н.* Педагогическая концепция формирования и развития речевой культуры у курсантов военных командных вузов: Автореф. дисс. на соискание ученой степени д-ра пед. наук, М., 2007. — 56 с.
36. *Лешкевич Т.Г.* Философия. Вводный курс. Изд. 2-е, дополненное — М.: 1998. — 464 с.
37. *Лосев А.Ф.* Гомер. — М.: Молодая гвардия, 2006. — 400 с.
38. *Лурье С.Я.* История Греции. — СПб.: 1993.
39. *Любкер Ф.* Иллюстрированный словарь античности. — М.: 2005. — 1344 с.
40. *Мандес М.И.* Опыт историко-критического комментария к греческой истории Диодора. Отношение Диодора к Геродоту и Фукидиду. — Одесса, 1901.
41. Махабхарата. Книга шестая: Бхишмапарва / Пер. с санскр., предисл., статья и коммент. В.Г. Эрмана. — М.: Ладомир, 2009. — 480 с.
42. *Махлаюк А.В.* Традиции, ментальность и идеология римской императорской армии: Дисс. на соискание ученой степени д-ра ист. наук. — И. Новгород, 2004. — 563 с.
43. *Машкин Н.А.* История древнего Рима. — М.: Высш. шк., 2006. — 751 с.
44. *Михальская А.К.* Педагогическая риторика: история и теория. — М.: 1998. — 432 с.
45. *Моммзен Т.* История Рима. — СПб.: Лениздат, 1993.
46. *Моммзен Т.* История римских императоров. — СПб.: 2002. — 628 с.
47. *Нуруллаев А.Н.* Причина римской революции. Том I. — СПб.: 2007. — 616 с.
48. Памятники литературы Др. Руси: 12 век. — М.: Худ.лит., 1980. — 704 с.
49. Памятники литературы Др. Руси: 13 век. — М.: Худ.лит., 1981. — 616 с.
50. Памятники литературы Др. Руси: 14 — середина 15 века. — М.: Худ.лит., 1981 — 606 с.
51. *Плутарх* Избранные жизнеописания. В 2 томах. Пер. с древнегр. / Сост. и прим. М. Томашевской. — М.: 1990.
52. *Полибий* Всеобщая история. В 2-х т. / Пер. с древнегр. Ф. Мищенко. — М.: «Издательство АСТ», 2004.
53. *Покровский М.М.* *Noterica* / Известия АН СССР № 6. — Л., 1929. — С. 437-456.
54. *Пропт В.Я.* Русский героический эпос. — М: Изд-во художественной литературы, 1958.

55. *Псевдо-Лонгин* О возвышенном / Пер. Н.А. Чистякова. — М.: Наука, 1996. — 18 с.
56. Римские историки IV века. — М.: 1997. — 414 с.
57. *Родионов Е.* Пунические войны. — СПб.: 2005. — 626 с.
58. *Рождественский Ю.В.* Теория риторики. — М.: Флинта: Наука, 2006. — 512 с.
59. *Саллюстий Г.К.* Сочинения / Пер. и комм. В.О. Горенштейна // Записки Юлия Цезаря. Гай Саллюстий Крисп. — М.: 1999. — 750 с.
60. *Светоний Г.Т.* Жизнь двенадцати цезарей. Пер. с лат. М.Л. Гаспарова / Предисл. И прим. М.Л. Гаспарова. — М.: Правда, 1988. — 512 с.
61. *Сунь-цзы* Искусство стратегии. — М.: СПб.: 2006. — 528 с.
62. *Сыма Цянь* Исторические записки / пер. с кит. и комм. Р.В. Вяткина и В.С. Та-скина Т. I, М., 1972.
63. *Сыма Цянь* Исторические записки / пер. с кит. и комм. Р.В. Вяткина и В.С. Та-скина Т. II, М., 1975.
64. *Тит Ливий* История Рима от основания Города. В 3-х т. — М.: 2002.
65. *Толмачев Я.В.* Военное красноречие, основанное на общих началах словесности, с присовокуплением примеров в разных родах оного. — С-Пб, 1825.
66. *Фукидид* История. — СПб.: Наука, 1999. — 590 с.
67. *Фукус Е.Б.* О военном красноречии. — С-Пб, 1825.
68. *Холланд Т.* Рубикон. Триумф и трагедия Римской Республики / Пер. с англ. Ю.Р. Соколова. — М.: Вече, 2007. — 368 с.
69. *Хоуэлл Г.* Древний Рим / пер с англ. К. Савельева. — М.: Эксмо, 2006. — 672 с.
70. Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве // под ред. М. Л. Гаспарова — М.: 1994. — 453 с.
71. *Шталь И.В.* Художественный мир гомеровского эпоса. — М.: Наука, 1983. — 296 с.
72. Энциклопедия военной мысли: в высказываниях выдающихся военачальников и классиков военной теории / под ред. П. Тоураса: (пер. с англ. К. Савельева). — М.: 2002. — 735 с.

---

## Содержание

Предисловие .....	5
Введение.....	11
Глава 1. Гомеровский риторический канон.....	16
Глава 2. Исследование достоверности речей, приводимых в исторических сочинениях древних авторов .....	31
Глава 3. Военная риторика Древней Греции .....	48
3.1. Военная риторика периода Греко-персидских войн .....	48
3.2. Военная риторика периода Пелопоннесской войны .....	58
3.3. Военная риторика Александра Македонского .....	71
Глава 4. Римская военная риторика .....	84
4.1. Военная риторика периода Республики .....	84
4.2. Военная риторика периода гражданских войн.....	100
4.3. Военная риторика периода Империи .....	116
Глава 5. Военная риторика Древнего Востока .....	135
5.1. Военная риторика Древней Индии .....	135
5.2. Военная риторика Древнего Китая.....	145
5.3. Ветхозаветная военная риторика .....	154
Заключение .....	158
Приложения .....	161
Приложение 1. Совещательная речь.....	161
Приложение 2. Судебная речь .....	162
Приложение 3. Эпидейктическая речь.....	164
Краткий словарь терминов .....	171
Список литературы.....	172
Содержание .....	175

**С. Э. Зверев**

Военная риторика Древнего мира

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Дизайн обложки *И. Н. Граве*

Оригинал-макет *О. В. Петрицкий*

Корректор *Д. А. Потапова*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.

Тел./факс: (812) 560-89-47

E-mail: office@aletheia.spb.ru (*отдел реализации*),

aletheia@peterstar.ru (*редакция*)

**www.aletheia.spb.ru**

**Фирменные магазины «Историческая книга»:**

*Москва*, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95

*Санкт-Петербург*, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.

Тел. (812) 327-26-37

*Книги издательства «Алетейя» в Москве  
можно приобрести в следующих магазинах:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. [www.biblio-globus.ru](http://www.biblio-globus.ru)

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83 Магазин

«Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.

Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Гилея», Тверской б-р., д. 9. Тел. (495) 925-81-66

Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.

Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

Магазин издательства «Совпадение».

Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84

Подписано в печать 01.07.2011. Формат 60x88<sup>1</sup>/<sub>16</sub>

Усл. печ. л. 10,75. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.

Заказ №